

Николай Гоголь

Ревизор (сборник)



Николай Гоголь
Ревизор (сборник)

«Public Domain»

Гоголь Н. В.

Ревизор (сборник) / Н. В. Гоголь — «Public Domain»,

В книгу вошли драматические произведения Н.В. Гоголя (1809 – 1852) и «Выбранные места из переписки с друзьями». Комедия «Ревизор» (1836) – вершина творчества Гоголя-драматурга, в пьесе соединены критика российской общественной жизни XIX века, сатирическое изображение русских характеров и трагическое повествование о «заблудших душах» в преддверии Страшного суда. «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) – духовное завещание Гоголя, главная тема которого – соотношение Церкви и культуры.

Содержание

Драматические произведения	9
Ревизор	9
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА	9
ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ	9
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ	10
ЯВЛЕНИЕ I	10
ЯВЛЕНИЕ II	13
ЯВЛЕНИЕ III	14
ЯВЛЕНИЕ IV	16
ЯВЛЕНИЕ V	17
ЯВЛЕНИЕ VI	18
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ	18
ЯВЛЕНИЕ I	18
ЯВЛЕНИЕ II	19
ЯВЛЕНИЕ III	20
ЯВЛЕНИЕ IV	20
ЯВЛЕНИЕ V	21
ЯВЛЕНИЕ VI	21
ЯВЛЕНИЕ VII	22
ЯВЛЕНИЕ VIII	22
ЯВЛЕНИЕ IX	25
ЯВЛЕНИЕ X	25
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ	26
ЯВЛЕНИЕ I	26
ЯВЛЕНИЕ II	27
ЯВЛЕНИЕ III	28
ЯВЛЕНИЕ IV	29
ЯВЛЕНИЕ V	29
ЯВЛЕНИЕ VI	30
ЯВЛЕНИЕ VII	33
ЯВЛЕНИЕ VIII	33
ЯВЛЕНИЕ IX	33
ЯВЛЕНИЕ X	34
ЯВЛЕНИЕ XI	35
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ	36
ЯВЛЕНИЕ I	36
ЯВЛЕНИЕ II	37
ЯВЛЕНИЕ III	37
ЯВЛЕНИЕ IV	38
ЯВЛЕНИЕ V	39
ЯВЛЕНИЕ VI	40
ЯВЛЕНИЕ VII	41
ЯВЛЕНИЕ VIII	42
ЯВЛЕНИЕ IX	42
ЯВЛЕНИЕ X	43
ЯВЛЕНИЕ XI	45

ЯВЛЕНИЕ XII	46
ЯВЛЕНИЕ XIII	47
ЯВЛЕНИЕ XIV	47
ЯВЛЕНИЕ XV	48
ЯВЛЕНИЕ XVI	49
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ	50
ЯВЛЕНИЕ I	50
ЯВЛЕНИЕ II	51
ЯВЛЕНИЕ III	52
ЯВЛЕНИЕ IV	52
ЯВЛЕНИЕ V	53
ЯВЛЕНИЕ VI	53
ЯВЛЕНИЕ VII	53
ЯВЛЕНИЕ VIII	55
ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ:	58
Женитьба	60
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА	60
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ	60
ЯВЛЕНИЕ I	60
ЯВЛЕНИЕ II	60
ЯВЛЕНИЕ III	61
ЯВЛЕНИЕ IV	61
ЯВЛЕНИЕ V	62
ЯВЛЕНИЕ VI	62
ЯВЛЕНИЕ VII	62
ЯВЛЕНИЕ VIII	62
ЯВЛЕНИЕ IX	63
ЯВЛЕНИЕ X	64
ЯВЛЕНИЕ XI	65
ЯВЛЕНИЕ XII	66
ЯВЛЕНИЕ XIII	67
ЯВЛЕНИЕ XIV	70
ЯВЛЕНИЕ XV	70
ЯВЛЕНИЕ XVI	71
ЯВЛЕНИЕ XVII	73
ЯВЛЕНИЕ XVIII	73
ЯВЛЕНИЕ XIX	74
ЯВЛЕНИЕ XX	75
ЯВЛЕНИЕ XXI	76
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ	77
ЯВЛЕНИЕ I	77
ЯВЛЕНИЕ II	79
ЯВЛЕНИЕ III	79
ЯВЛЕНИЕ IV	80
ЯВЛЕНИЕ V	80
ЯВЛЕНИЕ VI	81
ЯВЛЕНИЕ VII	82
ЯВЛЕНИЕ VIII	82
ЯВЛЕНИЕ IX	83

ЯВЛЕНИЕ X	84
ЯВЛЕНИЕ XI	84
ЯВЛЕНИЕ XII	85
ЯВЛЕНИЕ XIII	85
ЯВЛЕНИЕ XIV	85
ЯВЛЕНИЕ XV	87
ЯВЛЕНИЕ XVI	87
ЯВЛЕНИЕ XVII	88
ЯВЛЕНИЕ XVIII	89
ЯВЛЕНИЕ XIX	89
ЯВЛЕНИЕ XX	90
ЯВЛЕНИЕ XXI	91
ЯВЛЕНИЕ XXII	91
ЯВЛЕНИЕ XXIII	92
ЯВЛЕНИЕ XXIV	92
ЯВЛЕНИЕ XXV	92
Игроки	94
ЯВЛЕНИЕ I	94
ЯВЛЕНИЕ II	95
ЯВЛЕНИЕ III	95
ЯВЛЕНИЕ IV	95
ЯВЛЕНИЕ V	95
ЯВЛЕНИЕ VI	96
ЯВЛЕНИЕ VII	96
ЯВЛЕНИЕ VIII	97
ЯВЛЕНИЕ IX	102
ЯВЛЕНИЕ X	103
ЯВЛЕНИЕ XI	105
ЯВЛЕНИЕ XII	105
ЯВЛЕНИЕ XIII	106
ЯВЛЕНИЕ XIV	106
ЯВЛЕНИЕ XV	107
ЯВЛЕНИЕ XVI	107
ЯВЛЕНИЕ XVII	110
ЯВЛЕНИЕ XVIII	110
ЯВЛЕНИЕ XIX	111
ЯВЛЕНИЕ XX	111
ЯВЛЕНИЕ XXI	113
ЯВЛЕНИЕ XXII	113
ЯВЛЕНИЕ XXIII	114
ЯВЛЕНИЕ XXIV	115
ЯВЛЕНИЕ XXV	115
Утро делового человека	117
I	117
II	117
III	119
IV	119
V	120
Тяжба	121

I	121
II	121
III	121
IV	124
Лакейская	125
I	125
II	126
III	126
IV	127
VI	127
VII	128
VIII	128
Н.В. Гоголь	130
Предисловие	131
I	133
II	136
III	139
IV	140
V	142
VI	143
VII	145
VIII	150
IX	151
X	152
XI	160
XII	162
XIII	164
XIV	165
XV	171
1	171
2	172
XVI	174
XVII	175
XVIII	177
1	177
2	178
3	180
4	183
XIX	185
XX	186
XXI	190
XXII	197
XXIII	201
XXIV	206
XXV	209
XXVI	210
XXVII	213
XXVIII	215
XXIX	225

XXX	226
XXXI	227
XXXII	251
Авторская исповедь	256
Размышления о Божественной Литургии	275
Предисловие	275
Вступление	276
Проскомидия	277
Литургия оглашенных	282
Литургия верных	288
Заключение	302

Николай Васильевич Гоголь

Ревизор

Драматические произведения

Ревизор

Комедия в пяти действиях

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
Народная пословица

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Антон Антонович Сквозник-Дмухановский**, городничий.
Анна Андреевна, жена его.
Марья Антоновна, дочь его.
Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.
Жена его.
Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.
Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.
Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.
Петр Иванович Добчинский, **Петр Иванович Бобчинский**, городские помещики.
Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.
Осип, слуга его.
Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.
Федор Андреевич Люлюков, **Иван Лазаревич Растаковский**, **Степан, Иванович Коробкин**, отставные чиновники, почетные люди в городе.
Степан Ильич Уховертов, частный пристав.
Свистунов, **Пуговицын**, **Держиморда**, полицейские.
Абдулин, купец.
Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.
Жена унтер-офицера.
Мишка, слуга городничего.
Слуга трактирный.
Гости и гости, купцы, мещане, просители.

ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ

Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонно-

стями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженные, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполнину на романах и альбомах, вполнину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится, что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четырз раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, – один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его – серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и **Добчинский**, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом – как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната в доме городничего.

ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербург инкогнито. И еще с секретным предписанием.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписанием!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, таких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали – и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель (*бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами*)... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (*значительно поднимает палец вверх*). Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» (*остановясь*), ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дни я...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «... сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрипке...» – и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что–нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! (*Вздыхнув.*) До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эх куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения – и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по вашей части, Христиан Иванович, – всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа... Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву *и* и несколько на *е*.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завести его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уж это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распорядка и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками или чем другим – всё взятки.

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (*делает гримасу*), и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это

посетителю, – это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова – это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах – еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хватить стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек – или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего, – инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчик! А кто, скажет, здесь судья?» – «Ляпкин-Тяпкин». – «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» – «Земляника». – «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю (*берет его под руку и отводит в сторону*), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать

и прочитать: не содержится ли нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь – так описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чем в «Московских ведомостях»!

Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом... очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпириях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет...» – с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот откроется дверь и – шашь...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, **Бобчинский** и **Добчинский**, оба входят запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие! **Добчинский.** Неожиданное известие! Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...

Бобчинский (*перебивая*). Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Добчинский (*перебивая*). Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте, уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, – так я тогда

же забежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Я уж все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к **Коробкину**. А не заставши **Коробкина**-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Добчинский (*перебивая*). Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услышали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский (*перебивая*). За бочонком для французской водки.

Бобчинский (*отводя его руки*). За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... эного... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, – говорит, – в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение...» – да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... «А в трактир, – говорит, – привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Добчинский (*перебивая*). Недурной наружности, в партикулярном платье.

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (*вертит рукою около лба*) много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвал трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» – а Влас и отвечает на это: «Это», – говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете, у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, – да-с, – едущий из Петербурга,; а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя агтестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» – говорю я Петру Ивановичу...

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «Э!»

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! – сказали мы с Петром Ивановичем. – А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Городничий. Кто, какой чиновник?

Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получить notiцию, – ревизор.

Городничий (*в страхе*). Что вы, господь с вами! это не он.

Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Бобчинский. Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, – больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Городничий. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Городничий. И давно он здесь?

Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! (*В сторону.*) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии!. На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *{Хватается за голову.}*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? – ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...

Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (*Обращаясь к Бобчинскому.*) Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхает. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку – а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся **квартальным**.

ЯВЛЕНИЕ IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу... или нет, постой! Ступай принеси... Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий (*хватаясь за голову*). Ах, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет – беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...

Городничий (*принимая шпагу, к квартальному*). Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эх шпага как испаралась! Проклятый купчишка Абдулин – видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... черт возьми, по улице – по метле! и вывели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вывели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, – смотри, у меня ухо остро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым – а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради бога: куда вы запропалились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, – поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную вежу, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор – черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! (*Вздыхает.*) Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? – чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. (*Берет вместо шляпы футляр.*) Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! (*Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.*)

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий (*бросая коробку*). Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась.

Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами – и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! (*Уходит и возвращается.*) Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарница наденет только свех рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, боже мой!.. (*Отворяя дверь.*) Муж! Антоша! Антон! (*Говорит скоро.*) А все ты, а всё за тобой. И пошла копать: «Я булабочку, я косынку». (*Подбегает к окну и кричит.*) Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости – после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? (*С пренебрежением.*) Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочит, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю! Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! (*Свешивается в окно.*) Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побегу расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий, – каков он, – слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! (*Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.*)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

ЯВЛЕНИЕ I

Осип лежит на барской постеле.

Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дороною денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! (*Дразнит его.*) «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки – вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на

полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеатры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Шукин – купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел – ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! (*Усмехается и трясет головою.*) Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливое слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти – берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему – изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать – и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеатр билет, а там через неделю, глядь – и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтора ста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего – нипочем идут. А отчего? – оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? (*Со вздохом.*) Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. (*Поспешно схватывается с постели.*)

ЯВЛЕНИЕ II

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прими это. (*Отдает фуражку и тросточку.*) А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков (*ходит по комнате*). Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков (*ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом*). Послушай... эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков (*громким, но не столь решительным голосом*). Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков (*голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе*). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не платит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой – плут. Мы-де, говорит, таких шерамыжников и подлецов видали».

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобой, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь...

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, – нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел – и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подлю. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуй-ста, поторопи, чтоб поскорее, – видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит (*вытягиваясь и представляя лакея*): «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если придет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» (*Потирает руки и подшаркивает ножкой.*) Тьфу! (*плюет*) даже тошнит, так есть хочется.

ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков (*прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле*). Несут! несут! несут!

С л у г а (*с тарелками и салфеткой*). Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом деле, такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. (*Наливает суп и ест.*) Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков (*защищая рукою кушанье*). Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... (*Ест.*) Боже мой, какой суп! (*Продолжает есть.*) Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. (*Режет курицу.*) Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. (*Режет жаркое.*) Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. (*Ест.*) Мошенники, каналы, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. (*Ковыряет пальцем в зубах.*) Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! (*Вытирает рот салфеткой.*) Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Каналы! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, потом **Осип**.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип (*входит*). Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков (*испугавшись*). Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? (*Бодрится и выпрямливается.*) Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы...» (*У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съезживается.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков, **городничий** и **Добчинский**. Городничий, вошел, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий (*немного оправившись и протянув руки по швам*). Желая здравствовать!

Хлестаков (*кланяется*). Мое почтение...

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков (*сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко*). Да что же делать?... Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Бобчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп – он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий (*робея*). Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть – в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. (*Бодрится*.) Я, я, я...

Городничий (*в сторону*). О господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, всё рассказали проклятые купцы!

Хлестаков (*храбрясь*). Да вот вы хоть тут со всей своей командой – не пойду! Я прямо к министру! (*Стучит кулаком по столу*.) Что вы? что вы?

Городничий (*вытянувшись и дрожа всем телом*). Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий (*дрожа*). По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платя. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. (*В размышлении*.) Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь,; что у меня нет ни копейки.

Городничий (*в сторону*). О, тонкая штука! Эх куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. (*Вслух*.) Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне займы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий (*поднося бумажки*). Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков (*принимая деньги*). Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий (*в сторону*). Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста вернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! (*К городничему и Добчинскому.*) А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. (*Добчинскому.*) Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... (*Добчинскому.*) Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся. **Бобчинский** выглядывает в дверь и прислушивается.

Городничий (*в сторону*). Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. (*Вслух.*) Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием, – и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий (*в сторону*). Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! (*Вслух.*) Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий (*в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение*). В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо остро. (*Вслух.*) Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий (*в сторону*). Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! (*Вслух.*) И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.

Городничий (*в сторону*). Славно завязал узелок! Врет, врет – и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! (*Вслух.*) Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. (*Окидывает глазами комнату.*) Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит – от кого же? – от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, – не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостойн.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостойн, недостойн!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь – ей-богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особенно если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже – я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый **Осипом. Бобчинский** выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давеча подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. (*Слуге.*) Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. (*Прячет деньги.*)

Слуга уходит. В дверь выглядывает **Бобчинский**.

ЯВЛЕНИЕ X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то – богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, – рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий (*Добчинскому*). Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий (*тихо, Добчинскому*). Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. (*Хлестакову*.) Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги – не знаю... Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу. (*Пишет и в то же время говорит про себя.*) А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. (*Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.*)

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий (*делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову*). Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйста! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. (*Осипу*.) Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, – тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! (*Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.*) Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. (*Уходит; за ним Бобчинский.*)

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия.

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Андреевна, Анна Андреевна Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое... Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй, вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, вот нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе – не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, – из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда – все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагаюсь, как на порядочного человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевести. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменял мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж... это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда...» *(размахивает руками)*, так это все славно.

«Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смушенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? (*Читает.*) «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» (*Останавливается.*) Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. (*Продолжает читать.*) «Но, уповая на милосердие божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский (*бежит и кричит в дверь*). Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину... постой, я дам тебе записочку (*садится к столу, пишет записку и между тем говорит*): эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас приברי хорошенько эту комнату для гостя. Там поставь кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

ЯВЛЕНИЕ III

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штука: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмел. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь – лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтоб глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трэфовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и **Мишка** выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит **Осип** с чемоданом на голове.

ЯВЛЕНИЕ IV

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты, как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

ЯВЛЕНИЕ V

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит **Хлестаков**; за ним **городничий**, далее **попечитель богоугодных заведений**, **смотритель училищ**, **Добчинский** и **Бобчинский** с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку – они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поестъ. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович (*подбегая*). Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, – может быть, вам покажется даже невероятным, – все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольным?» Наградит ли оно или нет – конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

Артемий Филиппович (*сторону*). Эка, бездельник, как расписывает! Дал же бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.

Бобчинский (*Добчинскому*). Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Городничий (*в сторону*). Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! (*Вслух.*) Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю почь снесли проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич (*в сторону*). А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же... Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда конечно... Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков (*раскланиваясь*). Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков (*рисуясь*). Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, *comprenez vous*¹, в свете и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... (*посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней*) так вознаградил за всё...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только – тр, тр..., пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». (*Городничему.*) Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе

Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.

Артемий Филиппович. Мы постоим.

Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё...» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-

¹ понимаете ли (фр.).

нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат „Надежды“ и „Московский телеграф“... все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж – скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру – я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкуются и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? – я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо остро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через департамент – просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*

Городничий *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить).* А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков (*быстрым, отрывистым голосом*). Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков (*таким же голосом*). Не разберу ничего, всё вздор.

Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все что нужно.

Хлестаков. Вздор – отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... Я доволен, я доволен. (*С декламацией.*) Лабардан! лабардан! (*Входит в боковую комнату, за ним городничий.*)

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, кроме Хлестакова и городничего

Бобчинский (*Добчинскому*). Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович (*Луке Лукичу*). Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? (*Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:*) Прощайте, сударыня!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила – все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, – говорит себе, – дай уж посмотрю на нее!»

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и городничий.

Городничий (*входит на цыпочках*). Чш... ш...

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? (*Задумывается.*) Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы – женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам всё – финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... (*Посматривает на дочь.*)

Городничий (*один*). Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. (*Отворяет дверь и говорит в дверь.*) Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. (*После небольшого молчания.*) Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький – как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фракчишку – ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давича в трактире, заламливал такие аллегии и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий (*жене и дочери*). Полно, полно вам! (*Осипу.*) Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип (*в сторону*). А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. (*Вслух.*) Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы такими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоём барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или...

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... (*К Осипу.*) Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, – оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип (*принимая деньги*). А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..

Городничий. Да по стойте, дайте мне!.. (*К Осипу.*) А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» – «Плохо, ваше высокоблагородие!» – «Э, – говорит, – это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напomini мне, как приеду». – «А, – думаю себе (*махнув рукою*), – бог с ним! я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? (*Прячет деньги.*) Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! (*Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса.*) Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай – и уши потом заткнешь. (*Обращаясь к Осипу.*) Ну, друг...

ЯВЛЕНИЕ XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи – стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию...

Городничий. Чш! (*Закрывает ему рот.*) Эх как каркнула ворона! (*Дразнит его.*) Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. (*К Осипу.*) Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в долге, требуй.

Осип уходит.

А вы – стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! (*Показывает ногою.*) Слышите? Чш... чш... (*Уходит на цыпочках вслед за квартальными.*)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же комната в доме городничего.

ЯВЛЕНИЕ I

Входят осторожно, почти на цыпочках: **Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский**, в полном параде и мундирах.

Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович (*строит всех полукружием*). Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: «Вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует – чтобы и уши не слышали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке...

Все (пристают к нему). Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливания в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние – совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай! ай!» – наконец все выпираются, и комната остается пуста.

ЯВЛЕНИЕ II

Хлестаков один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович (*входя и останавливаясь, про себя*). Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. (*Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.*) Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восьмьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьей?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. (*В сторону.*) А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович (*высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону*). Господи боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович (*потерявшись и роняя на пол ассигнации*). Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович (*дрожа всем телом*). Никак нет-с. (*В сторону.*) О боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков (*подымая*). Да, это деньги.

Аммос Федорович (*в сторону*). Ну, все кончено – пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне займы.

Аммос Федорович (*поспешно*). Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. (*В сторону.*) Ну, смелее, смелее! Вывози, пресвятая мать!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь заслужить... (*Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.*) Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

Аммос Федорович (*раскланиваясь и уходя, в сторону*). Ну, город наш!

Хлестаков (*по уходе его*). Судья – хороший человек!

ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно – ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. (*В сторону.*) А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, – не правда ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. (*Глядя в глаза ему, говорит про себя.*) А попрошу-ка я у этого почтмейстера займы! (*Вслух.*) Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей займы?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастье. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. (*Встает, вытягивается и придерживает шпагу.*) Не смея долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

(Раскуривая сигарку.) Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Лука Лукич *(вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу)*. Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич *(про себя, в нерешимости)*. Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Лука Лукич *(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя)*. Черт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся – брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.

Хлестаков. А! а! Не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла... преос... свят... *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей займа?

Лука Лукич *(хватаясь за карманы, про себя)*. Вот те штука, если нет! Есть, есть! *(Внимает и подает, дрожа, ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич (*вытягиваясь и придерживая шпагу*). Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич (*летит вон почти бегом и говорит в сторону*). Ну слава богу! авось не заглянет в классы!

ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я – признаюсь, это моя слабость, – люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. (*Помолчав.*) Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. (*Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.*) Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, – конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, – поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..

Артемий Филиппович. То есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... (*Раскланивается с тем, чтобы уйти.*)

Хлестаков (*провожая*). Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время... Я это очень люблю. (*Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.*) Эй вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы – рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванов сын Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад... (*Вдруг и отрывисто.*) Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков (*громко и скоро*). Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский (*шаря в карманах*). У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский (*смотря в бумажник*). Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. (*Принимает деньги.*)

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да... (*Обращаясь к Бобчинскому.*) Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. (*Выпровождает их.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки – пусть-ка он их обшелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали займы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

ЯВЛЕНИЕ IX

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? (*Начинает писать.*)

Осип. Да, слава богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков (*пишет*). А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора.

Хлестаков (*пишет*). Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька – ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные – так бы закатали!..

Хлестаков (*пишет*). Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И

батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков (*пишет*). Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. (*Продолжает писать.*) Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков (*пишет*). Хорошо. Принеси только свечу.

Осип (*выходит и говорит за сценой*). Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков (*продолжает писать*). Любопытно знать, где он теперь живет – в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. (*Свертывает и надписывает.*)

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

(*Дает Осипу письмо.*) На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип (*глядя в окно*). Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков (*подходя к окну*). А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

(*Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает:*) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что: и чина такого нет!

ЯВЛЕНИЕ X

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке – мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало – ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянность берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, – говорит, – не буду, – говорит, – подвергать телесному наказанию или пыткой пытать – это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запроводит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне займы рублей триста – ну, тогда совсем дело другое: займы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! (*Внимают деньги.*) Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: займы – я ни слова, я возьму.

Купцы (*подносят ему на серебряном подносе деньги*). Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы (*кланяясь*). Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взятку никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, – и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не можете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? (*Подходит к окну.*) А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!

Хлестаков (*в окно*). Пропустить ее.

ЯВЛЕНИЕ XI

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша (*кланяясь в ноги*). Милости прошу...

Унтер-офицерша. Милости прошу...

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал мошенник, сделал – побей бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, окошел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю – годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? (*Выпровождает старуху.*)

Слесарша (*уходя*). Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? (*Подходит к окну.*) Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! (*Отходя.*) Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип! **Осип** (*кричит в окно*). Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь открывается, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небри-тою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? (*Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.*)

ЯВЛЕНИЕ XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков (*рисуетя*). Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков (*рисуетя*). А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принести удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. (*Села.*)

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только досмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите... Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие – хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Ну и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... (*Придвигая стул.*)

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... (*Отдвигает стул.*)

Хлестаков (*придвигая стул*). Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна (*отдвигаясь*). Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков (*придвигаясь*). Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна (*отдвигается*). Да к чему ж это?

Хлестаков (*придвигаясь*). Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна (*смотрит в окно*). Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков (*целует ее в плечо и смотрит в окно*). Это сорока.

Марья Антоновна (*встает в негодовании*). Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков (*удерживая ее*). Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... (*Силится уйти.*)

Хлестаков (*продолжая удерживать ее*). Из любви, право из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. (*Падает на колени.*) Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна (*увидев Хлестакова на коленях*). Ах, какой пассаж!

Хлестаков (*вставая*). А, черт возьми!

Анна Андреевна (*дочери*). Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...

Хлестаков (*в сторону*). А она тоже очень аппетитна, очень недурна. (*Бросается на колени.*) Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы... (*Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.*) Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна (*сквозь слезы*). Я, право, маменька, не знала...

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие – перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать.

Хлестаков (*схватывая за руку дочь*). Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна (*с изумлением*). Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастья.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

ЯВЛЕНИЕ XV

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша – мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостойн такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов...

Городничий. Не могу верить: извольте шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной, Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивая от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Бона, как дело-то пошло!

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо... я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть... вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это... На одну минуту только... на один день к дяде – богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя... нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, – я не хочу воспользоваться вашей ошибкою; – так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой.

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший – что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет! (*Бьет рукою по коврику.*) Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Та же комната.

ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось – просто из какой-нибудь городничихи и вдруг; фу-ты, канальство! с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь бог послал городничему, – что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не

было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Естественно, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Естественно, что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом?

– потому что, случится, поедешь куда-нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидаются: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаеть где-нибудь у губернатора, а там – стой, городничий! Хе, хе, хе! (*Заливается и помирает со смеху.*) Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты едешь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему всё бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. (*Зажмуривает глаза и нюхает.*) Ах, как хорошо!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!

Купцы (*кланяясь*). Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Анна Андреевна. Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий (*с неудовольствием*). А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я вас... у!.. обманываете народ... Сделаешь подряд с казноу, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин... ах ты, рожа!

– дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? – начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу-ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы (*кланяясь*). Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? – оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья! втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы (*кланяются в ноги*). Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! а прежде что? Я бы вас... (*Махнув рукой.*) Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с богом!

Купцы уходят.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, **Аммос Федорович**, **Артемий Филиппович**, потом **Растаковский**.

Аммос Федорович (*еще в дверях*). Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастье?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. (*Подходит к руке Анны Андреевны.*) Анна Андреевна! (*Подходя к руке Марьи Антоновны.*) Марья Антоновна!

Растаковский (*входит*). Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! (*Подходит к руке Анны Андреевны.*) Марья Антоновна! (*Подходит к руке Марьи Антоновны.*)

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, **Коробкин** с женою, **Люлюков**.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! (*Подходит к руке Анны Андреевны.*) Марья Антоновна! (*Подходит к ее руке.*)

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! (*Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.*) Марья Антоновна! Имею честь поздравить. (*Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.*)

ЯВЛЕНИЕ v

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» – потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!»

Бобчинский и **Добчинский** проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна! **Бобчинский.** Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! (*Подходит к ручке.*) Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастье, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский (*перебивая*). Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон этакого-с (*показывает рукою*), чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!

ЯВЛЕНИЕ VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам, **Лука Лукич с женою.**

Лука Лукич. Имею честь...

Жена Луки Лукича (*бежит вперед*). Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, боже мой!»

– думаю себе и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне!» «Ну, – думаю себе, – слава богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъяснить лично Анне Андреевне...» «Ах, боже мой! – думаю себе. – Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела», – и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» – «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственлично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам...» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь – копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», – он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» – говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба – индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает.)*

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!., признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю – большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович (*в сторону*). Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович (*в сторону*). Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. (*Обращаясь к нему.*) Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять такими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и почтмейстер, впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор – я узнал это из письма...

Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес – вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, – думаю себе, – верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эшпафетой, – но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч – по жилам огонь, а распечатал – мороз, ей-богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!

Городничий (*запальчиво*). Как ни се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест...

Почтмейстер. Кто? Вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер (*читает*). «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, – думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий – глуп, как сивый мерин...»

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер (*показывает письмо*). Читайте сами.

Городничий (*читает*). «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер (*продолжая читать*). «Городничий – глуп, как сивый мерин...»

Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер (*продолжая читать*). Хм... хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» (*Оставляя читать*.) Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте всё!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. (*Надевает очки и читает*). «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».

Почтмейстер (*к зрителям*). Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

Артемий Филиппович (*продолжая читать*). «Надзиратель над богоугодным заведе... и... и... и...» (*Закрывается*.)

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. (*Берет письмо*.)

Артемий Филиппович (*не давая письма*). Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, всё читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! (*Коробкину.*) Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. (*Отдает письмо.*) Вот, позвольте... (*Закрывает пальцем.*) Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!

Коробкин (*читая*). «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника – совершенная свинья в ермолке».

Артемий Филиппович (*к зрителям*). И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин (*продолжая читать*). «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Лука Лукич (*к зрителям*). Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович (*в сторону*). Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин (*читает*). «Судья...»

Аммос Федорович. Вот тебе на! (*Вслух*). Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!

Коробкин (*продолжает*). «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон...» (*Останавливается*). Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин (*продолжая читать*). «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пиши для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. (*Переворачивает письмо и читает адрес.*) Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме под номером девяносто седьмым, поворота на двор, в третьем этаже направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! (*Машет рукою.*)

Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание..

Жена Коробкина. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер (*вздыхает*). Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович (*в недоумении расставляет руки*). Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий (*бьет себя по лбу*). Как я – нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошен-

ников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! (*махнул рукой*) нечего и говорить про губернаторов...

Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

Городничий (*в сердцах*). Обручился! Кукиш с маслом – вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обручением!.. (*Висступлении.*) Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (*Грозит самому себе кулаком.*) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливаает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище – найдется шелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь?

– Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. (*Стучит со злости ногами об пол.*) Я бы всех этих бумагомарак! У, шелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. (*Сует кулаком и бьет каблучком в пол. После некоторого молчания.*) До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего – и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте?

Артемий Филиппович (*расставляя руки*). Уж как случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил – вот кто выпустил: эти молодцы! (*Показывает на Добчинского и Бобчинского.*)

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...

Добчинский. Я ничего, совсем ничего...

Артемий Филиппович. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит...» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ:

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

Немая сцена

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутой назад головой. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел повсвистать или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

Женитьба

Совершенно невероятное событие в двух действиях

(Писано в 1833 году)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста.

Арина Пантелеймоновна, тетка.

Фекла Ивановна, сваха.

Подколесин, служащий, надворный советник,

Кочкарев, друг его.

Яичница, экзекутор.

Анучкин, отставной пехотный офицер.

Жевакин, моряк.

Дуняшка, девочка в доме.

Стариков, гостинодворец.

Степан, слуга Подколесина.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Комната холостяка.

Подколесин один, лежит на диване о трубкой.

Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед. А ведь, кажется, все готово, и сваха вот уж три месяца ходит. Право – самому как-то становится совестно. Эй, Степан!

ЯВЛЕНИЕ II

Подколесин, Степан.

Подколесин. Не приходила сваха?

Степан. Никак нет.

Подколесин. А у портного был?

Степан. Был.

Подколесин. Что ж он, шьет фрак?

Степан. Шьет.

Подколесин. И много уже нашил?

Степан. Да, уж довольно. Начал уж петли метать.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: начал уж петли метать.

Подколесин. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?

Степан. Нет, не спрашивал.

Подколесин. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ты видел, однако ж, у него и другие фраки? Ведь он и для других тоже шьет?

Степан. Да, фраков у него много висит.

Подколесин. Однако ж ведь сукно-то на них будет, чай, похуже, чем на моем?

Степан. Да, это будет поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: это поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Хорошо. Ну, а не спрашивал: для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?

Степан. Нет.

Подколесин. Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дискать, жениться?

Степан. Нет, об этом не заговаривал.

Подколесин. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин и где служу?

Степан. Сказывал.

Подколесин. Что ж он на это?

Степан. Говорит: буду стараться.

Подколесин. Хорошо. Теперь ступай.

Степан уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Подколесин один.

Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... вот позабыл слово! и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе ни переворачивай, а надворный советник тот же полковник, только разве что мундир без эполет. Эй, Степан!

ЯВЛЕНИЕ IV

Подколесин, Степан.

Подколесин. А ваксу купил?

Степан. Купил.

Подколесин. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?

Степан. Да-с, в той самой.

Подколесин. Что ж, хороша вакса?

Степан. Хороша.

Подколесин. Ты пробовал чистить ею сапоги?

Степан. Пробовал.

Подколесин. Что ж, блестит?

Степан. Блестеть-то она блестит хорошо.

Подколесин. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?

Степан. Нет.

Подколесин. Может быть, не говорил ли: не затевает ли, дискать, барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ну, хорошо, ступай себе.

ЯВЛЕНИЕ V

Подколесин один.

Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Всё как-то не того... Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан!

ЯВЛЕНИЕ VI

Подколесин, Степан.

Степан. Чего изволите?

Подколесин. Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей?

Степан. Говорил.

Подколесин. Что ж он говорит?

Степан. Говорит, хорошо.

Степан уходит.

ЯВЛЕНИЕ VII

Подколесин, потом Степан.

Подколесин. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь женитьба! То, да се, да это. Чтобы то да это было исправно, – нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан!

Степан входит.

Я хотел тебе еще сказать...

Степан. Старуха пришла.

Подколесин. А, пришла; зови ее сюда.

Степан уходит.

Да, это вещь... вещь не того... трудная вещь.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Подколесин и Фекла.

Подколесин. А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну что? как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как бишь ее: Меланья?..

Фекла. Агафья Тихоновна.

Подколесин. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?

Фекла. Уж вот нет так нет. То есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.

Подколесин. Да ты врешь, Фекла Ивановна.

Фекла. Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет.

Подколесин. А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь.

Фекла. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря: один хлигерь совсем деревянный, другой на каменном фундаменте; каждый рублев по четыреста приносит доходу. Огород

есть еще на Выборгской стороне: третьего года купец нанимал под капусту; и такой купец трезвый, совсем не берет хмельного в рот, и трех сыновей имеет: двух уж поженит, «а третий, говорит, еще молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче».

Подколесин. Да собой-то, какова собой?

Фекла. Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны (*показывает на горло*); то есть и приятелю и неприятелю скажете: «Ай да Фекла Ивановна, спасибо!»

Подколесин. Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка?

Фекла. Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. О купце и слышать не хочет. «Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин». Да, такой великатес! А к воскресному-то как наденет шелковое платье – так вот те Христос, так и шумит. Княгиня просто!

Подколесин. Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник, так мне, понимаешь...

Фекла. Да уж обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали: не пондравился. Такой уж у него нрав-то странный был: что ни скажет слово, то и совет, а такой на взгляд видный. Что ж делать, так уж ему бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля божия.

Подколесин. Ну, а кроме этой, других там нет никаких?

Фекла. Да какой же тебе еще? Уж это что ни есть лучшая.

Подколесин. Будто уж самая лучшая?

Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.

Подколесин. Подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак: я полежу, а ты расскажешь...

Фекла. Да помилуй, отец! уж вот третий месяц хожу к тебе, а проку-то ни насколько. Все сидит в халате да трубку знай себе покуривает.

Подколесин. А ты думаешь небось, что женитьба все равно что «эй, Степан, подай сапоги!». Натянул на ноги да и пошел? Нужно порассудить, порассмотреть.

Фекла. Ну, так что ж? Коли смотреть, так и смотри. На то товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-тка подать кафтан да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.

Подколесин. Теперь? А вот видишь, как пасмурно. Выеду, а вдруг хватит дождем.

Фекла. А тебе же худо! Ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружеска дела. Невидадь, что он придворный советник! Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.

Подколесин. Что за чепуху несешь ты? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Где ж седой волос? (*Щупает свои волосы.*)

Фекла. Как не быть седому волосу, на то живет человек. Смотри ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь, а говорит-то – как труба; в алгалантьерстве служит.

Подколесин. Да врешь, я посмотрю в зеркало; где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало! Или нет, стой, я пойду сам. Вот еще боже сохрани. Это хуже, чем оспа. (*Уходит в другую комнату.*)

ЯВЛЕНИЕ IX

Фекла и Кочкарев, вбегая.

Кочкарев. Что Подколесин?.. (*Увидев Феклу.*) Ты как здесь? Ах, ты!.. Ну послушай, на кой черт ты меня женила?

Фекла. А что ж дурного? Закон исполнил.

Кочкарев. Закон исполнил! Эх невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?

Фекла. Да ведь ты ж сам пристал: жени, бабушка, да и полно.

Кочкарев. Ах ты, крыса старая!.. Ну, а здесь зачем? Неужли Подколесин хочет...

Фекла. А что ж? Бог благодать послал.

Кочкарев. Нет! Эх мерзавец, ведь мне ничего об этом. Каков! Прошу покорно: сподтишка?

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и **Подколесин** с зеркалом в руках, в которое вглядывается очень внимательно.

Кочкарев (*подкрадываясь сзади, пугает его*). Пуф!

Подколесин (*вскрикнув и роняя зеркало*). Сумасшедший! Ну зачем, зачем... Ну что за глупости! Перепугал право, так что душа не на месте.

Кочкарев. Ну, ничего, пошутил.

Подколесин. Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь это вещь не даровая: в английском магазине куплено.

Кочкарев. Ну полно: я сыщу тебе другое зеркало.

Подколесин. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажет старше, и рожа выходит косяком.

Кочкарев. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал?

Подколесин. Вот вздор: совсем и не думал.

Кочкарев. Да ведь улика налицо. (*Указывает на Феклу.*) Ведь вот стоит – известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь: я беру на себя все дела. (*К Фекле.*) Ну, говори, как, что и прочее? Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, – и как зовут?

Фекла. Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Агафья Тихоновна Брандахлыстова?

Фекла. Ан нет – Купердягина.

Кочкарев. В Шестилавочной, что ли, живет?

Фекла. Уж вот нет; будет поближе к Пескам, в Мыльном переулке.

Кочкарев. Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой – деревянный дом?

Фекла. И не за лавочкой, а за пивным погребом.

Кочкарев. Как же за пивным, – вот тут-то я не знаю.

Фекла. А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка, и как будку минешь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза – то есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секлетарем. Ты к швее-то не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный – вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.

Кочкарев. Хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю; а ты ступай, – в тебе больше нет нужды.

Фекла. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?

Кочкарев. Сам, сам; ты уж не мешайся только.

Фекла. Ах, бесстыдник какой! Да ведь это не мужское дело. Отступишь, батюшка, право!

Кочкарев. Пойди, пойди. Не смыслишь ничего, не мешайся! Знай, сверчок, свой шесток, – убирайся!

Фекла. У людей только чтобы хлеб отымать, безбожник такой! В такую дрянь вмешался. Кабы знала, ничего бы не сказывала. (*Уходит с досадой.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Подколесин и Кочкарев.

Кочкарев. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.

Подколесин. Да ведь я еще ничего. Я так только подумал...

Кочкарев. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как всё вдруг.

Подколесин. Вот еще! Сейчас бы и ехать!

Кочкарев. Да за чем же, помилуй, за чем дело?.. Ну, рассмотри сам: ну что из того, что ты неженатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон деляя куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку.

Подколесин. Это правда. Порядка-то у меня, я знаю сам, что нет.

Кочкарев. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье... И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя...

Подколесин. А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.

Кочкарев. Куды тебе! Будто у них только что ручки!.. У них, брат... Ну да что и говорить! у них, брат, просто черт знает чего нет.

Подколесин. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.

Кочкарев. Ну видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее – это все уж я... Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек – эти шутить не любят. А рейнвейн – черт с ним, не правда ли? а? А что же касается до обеда – у меня, брат, есть на примете придворный официант: так, собака, накормит, что просто не встанешь.

Подколесин. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле уж и свадьба.

Кочкарев. А почему ж нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?

Подколесин. Я? Ну нет... я еще не совсем согласен.

Кочкарев. Вот тебе на! Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь.

Подколесин. Я говорил только, что не худо бы.

Кочкарев. Как, помилуй! Да мы уж совсем было все дело... Да что? разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?

Подколесин. Нет... нравится.

Кочкарев. Ну, так что ж? За чем дело стало?

Подколесин. Да дело ни за чем не стало, а только странно...

Кочкарев. Что ж странно?

Подколесин. Как же не странно: все был неженатый, а теперь вдруг – женатый.

Кочкарев. Ну, ну... ну не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить серьезно: я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри, посмотри на себя внимательно, вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо – больше ничего. А тут, вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то что двое или трое, а, может быть, целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты

вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник какой, бог тебя ведаёт, а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь постреленок, протянувши ручонки, будет теревить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи: ав, ав, ав! Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам?

Подколесин. Да ведь они только шалуны большие: будут всё портить, разбросают бумаги.

Кочкарев. Пусть шалют, да ведь все на тебя похожи – вот штука.

Подколесин. А оно, в самом деле, даже смешно, черт побери: этакой какой-нибудь пышка, щенок эдакой, и уж на тебя похож.

Кочкарев. Как не смешно, конечно, смешно. Ну, так поедем.

Подколесин. Пожалуй, поедем.

Кочкарев. Эй, Степан! Давай скорее своему барину одеваться.

Подколесин (*одеваясь перед зеркалом*). Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.

Кочкарев. Пустяки, все равно.

Подколесин (*надевая воротнички*). Проклятая прачка, так скверно накрахмалила воротнички – никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она, глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.

Кочкарев. Да ну, брат, поскорее! Как ты копаешься!

Подколесин. Сейчас, сейчас. (*Надевает фрак и садится.*) Послушай, Илья Фомич. Знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.

Кочкарев. Ну вот еще; с ума сошел разве? Мне ехать! Да кто из нас женится: ты или я?

Подколесин. Право, что-то не хочется; пусть лучше завтра.

Кочкарев. Ну есть ли в тебе капля ума? Ну не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг: не нужно! Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого?

Подколесин. Ну что ж ты бранишься? с какой стати? что я тебе сделал?

Кочкарев. Дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп, хоть и экспедитор. Ведь о чем стараюсь? О твоей пользе; ведь изо рта выманят кус. Лежит, проклятый холостяк! Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь;, колпак, сказал бы такое слово... да неприлично только. Баба! хуже бабы!

Подколесин. И ты хорош в самом доле! (*Вполголоса.*) В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бранится, да еще эдакими словами; не нашел другого места.

Кочкарев. Да как же тебя не бранить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бранить? У кого достанет духу тебя не бранить? Как порядочный человек, решил жениться, последовал благоразумию и вдруг – просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан...

Подколесин. Ну, полно, я еду – чего ж ты раскричался?

Кочкарев. Еду! Конечно, что ж другое делать, как не ехать! (*Степану.*) Давай ему шляпу и шинель.

Подколесин (*в дверях*). Такой, право, странный человек! С ним никак нельзя водиться: выбранит вдруг ни за что ни про что. Не понимает никакого обращения.

Кочкарев. Да уж кончено, теперь не браню.

Оба уходят.

ЯВЛЕНИЕ XII

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

Агафья Тихоновна раскладывает на картах, из-за руки глядит тетка **Арина Пантелеймоновна**.

Агафья Тихоновна. Опять, тетушка, дорога! Интересуется какой-то бубновый король, слезы, любовное письмо; с левой стороны трефовый изъясляет большое участие, но какая-то злодейка мешает.

Арина Пантелеймоновна. А кто бы, ты думала, был трефовый король?

Агафья Тихоновна. Не знаю.

Арина Пантелеймоновна. А я знаю кто.

Агафья Тихоновна. А кто?

Арина Пантелеймоновна. А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.

Агафья Тихоновна. Вот уж верно не он! я хоть что ставлю, не он.

Арина Пантелеймоновна. Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русский. Нет другого трефового короля.

Агафья Тихоновна. А вот же нет: трефовый король значит здесь дворянин. Купцу далеко до трефового короля.

Арина Пантелеймоновна. Эх, Агафья Тихоновна, ведь не то бы ты сказала; как бы покойник – то Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу да вскрикнет: «Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом; да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие! А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякий другой?» Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною – такие страсти! Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.

Агафья Тихоновна. Ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж! Да ни за что не выйду за купца!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь Алексей-то Дмитриевич не такой.

Агафья Тихоновна. Не хочу, не хочу! У него борода: станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Фекла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.

Арина Пантелеймоновна. Да ведь она лгунья, мой свет.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и **Фекла.**

Фекла. Ан нет, Арина Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклеп взводить.

Агафья Тихоновна. Ах, это Фекла Ивановна! Ну что, говори, рассказывай! Есть?

Фекла. Есть, есть, дай только прежде с духом собраться – так ухлопоталась! По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили, ей-богу! Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне: «Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал», – говорит. «Да что ж, – сказала я напрямик, – я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить». Зато уж каких женихов тебе припасла! То есть и стоял свет и будет стоять, а таких еще не было! Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.

Агафья Тихоновна. Как же сегодня? Душа моя Фекла Ивановна, я боюсь.

Фекла. И, не пугайся, мать моя! дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их: не пондравятся – ну и уедут.

Арина Пантелеймоновна. Ну уж, чай, хороших приманила!

Агафья Тихоновна. А сколько их? много?

Фекла. Да человек шесть есть.

Агафья Тихоновна (*вскрикивает*). Ух!

Фекла. Ну что ж ты, мать моя, так вспорхнула? Лучше выбирать: один не придется, другой придется.

Агафья Тихоновна. Что ж они: дворяне?

Фекла. Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.

Агафья Тихоновна. Ну, какие же, какие?

Фекла. А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар Балтазарович Жевакин, такой славный, во флоте служил, – как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван-то Павлович, что служит езекухтором, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый; как закричит на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая! ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?» – «Столько-то и столько-то, отец мой!» – «Ты врешь, собачья дочь!» Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала: э, да это должен быть важный господин.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный! а губы, мать моя, – малина, совсем малина! такой славный. «Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить». Да, тонкого поведения человек, немецкая штука! А сам-то такой subtilный, и ножки узенькие, тоненькие.

Агафья Тихоновна. Нет, мне эти subtilные как-то не того... не знаю... Я ничего не вижу в них...

Фекла. А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, неча сказать, барин так барин: мало в эти двери не войдет, – такой славный.

Агафья Тихоновна. А сколько лет ему?

Фекла. А человек еще молодой: лет пятьдесят, да и пятидесяти еще нет.

Агафья Тихоновна. А фамилия как?

Фекла. А фамилия Иван Павлович Яичница.

Агафья Тихоновна. Это такая фамилия?

Фекла. Фамилия.

Агафья Тихоновна. Ах боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает что такое!

Фекла. И, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А пожалуй, коли не нравится прозвище, – то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина – славный жених.

Агафья Тихоновна. А какие у него волосы?

Фекла. Хорошие волосы.

Агафья Тихоновна. А нос?

Фекла. Э... и нос хороший. Всё на своем месте. И сам такой славный. Только не погнавайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет – никакой мебели.

Агафья Тихоновна. А еще кто?

Фекла. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко заикается только, зато уж такой скромный.

Арина Пантелеймоновна. Ну что ты все: чиновник, чиновник! А не любит ли он выпить, вот, мол, что скажи.

Фекла. А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, уж он титулярный советник; зато такой тихий, как шелк.

Агафья Тихоновна. Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.

Фекла. Твоя воля, мать моя! Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее, – ведь не всю же неделю бывает пьян: иной день выберется и трезвый.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. Да есть еще один, да тот только такой... бог с ним! Эти будут почище.

Агафья Тихоновна. Ну, да кто же он?

Фекла. А не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, надворный советник и петлицу носит, да уж на подъем куды тяжел, не выманишь из дому.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть.

Фекла. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало, а ведь давеча было испугалась.

Арина Пантелеймоновна. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а, право купец один станет за всех.

Фекла. А нет, Арина Пантелеймоновна. Дворянин будет почтенней.

Арина Пантелеймоновна. Да что в почтенье-та? А вот Алексей Дмитриевич да в собольей шапке, в санках-то как прокатится...

Фекла. А дворянин-то с аполетой пройдет навстречу, скажет: «Что ты, купчишка? свороти с дороги!» Или: «Покажи, купчишка, бархату самого лучшего!» А купец: «Извольте, батюшка!» – «А сними-ка, невежа, шляпу!»

– вот что скажет дворянин.

Арина Пантелеймоновна. А купец, если захочет, не даст сукна; а вот дворянин-то и голенькой, и не в чем ходить дворянину!

Фекла. А дворянин зарубит купца.

Арина Пантелеймоновна. А купец пойдет жаловаться в полицию.

Фекла. А дворянин пойдет на купца к сенахтору.

Арина Пантелеймоновна. А купец к губернахтору.

Фекла. А дворянин...

Арина Пантелеймоновна. Врешь, врешь: дворянин... Губернатор больше сенахтора! Разносились с дворянином! а дворянин при случае так же гнет шапку...

В дверях слышен звонок.

Никак, звонит кто-то.

Фекла. Ахти, это они!

Арина Пантелеймоновна. Кто они?

Фекла. Они... кто-нибудь из женихов.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает)*. Ух!

Арина Пантелеймоновна. Святые, помилуйте нас, грешных! В комнате совсем не прибрано. *(Схватывает все, что ни есть на столе, и бежит по комнате.)* Да салфетка-то салфетка на столе совсем черная. Дуняшка, Дуняшка!

Дуняшка является.

Скорее чистую салфетку! *(Стаскивает салфетку и мечется по комнате.)*

Агафья Тихоновна. Ах, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке!

Арина Пантелеймоновна. Ах, мать моя, беги скорей одеваться! *(Мечется по комнате.)*

Дунышка приносит салфетку; в дверях звонят.

Беги скажи: «Сейчас!»

Дунышка кричит издалека: «Сейчас!»

Агафья Тихоновна. Тетушка, да ведь платье не выглажено.

Арина Пантелеймоновна. Ах, господи милосердный, не погуби! Надень другое.

Фекла (*вбегая*). Что ж вы нейдете? Агафья Тихоновна, поскорей, мать моя!

Слышен звонок.

Ахти, а ведь он все дожидается!

Арина Пантелеймоновна. Дунышка, введи его и проси обождать.

Дунышка бежит в сени и отворяет дверь. Слышны голоса: «Дома?» – «Дома, пожалуйста в комнату». Все с любопытством стараются рассмотреть в замочную скважину.

Агафья Тихоновна (*вскрикивает*). Ах, какой толстый!

Фекла. Идет, идет!

Все бегут опрометью.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Иван Павлович Яичница и девчонка.

Девчонка. Погодите здесь. (*Уходит.*)

Яичница. Пожалуй, пождать – пождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал: «А где экзекутор?» – «Невесту пошел выглядывать». Чтоб не задал он такой невесты... А однако ж, рассмотреть еще раз роспись. (*Читает.*) «Каменный двухэтажный дом...» (*Подымает глаза вверх и обсматривает комнату.*) Есть! (*Продолжает читать.*) «Флигеля два: флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный...» Ну, деревянный плоховат. «Дрожки, сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый...» Может быть, такие, что в лом годятся? Старуха, однако ж, уверяет, что первый сорт; хорошо, пусть первый сорт. «Две дюжины серебряных ложек...» Конечно, для дома нужны серебряные ложки. «Две лисьих шубы...» Гм... «Четыре больших пуховика и два малых. (*Значительно сжимает губы.*) Шесть пар шелковых и шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два...» Ну, это статья пустая! «Белье, салфетки...» Это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и дома, и экипажи, а как женишься – только и найдешь, что пуховики да перины.

Слышен звонок. **Дунышка** бежит впопыхах через комнату отворять дверь. Слышны голоса: «Дома?» – «Дома».

ЯВЛЕНИЕ XV

Иван Павлович и **Анучкин**.

Дунышка. Погодите тут. Они выдут. (*Уходит.*)

Анучкин раскланивается с Яичницей.

Яичница. Мое почтение!

Анучкин. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить?

Яичница. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.

Анучкин. Ах, извините! извините!

Яичница (*в сторону*). Физиогномия этого человека мне что-то подозрительна: чуть ли он не за тем же сюда пришел, за чем и я. (*Вслух.*) Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?

Анучкин. Нет, что ж... надобности никакой нет, а так, зашел с прогулки.

Яичница (*в сторону*). Врет, врет, с прогулки! Жениться, подлец, хочет!

Слышен звонок. **Дуняшка** бежит через комнату отворять дверь. В сенях голоса: «Дома?» – «Дома».

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и **Жевакин**, в сопровождении **девчонки**.

Жевакин (*девчонке*). Пожалуйста, душенька, почисть меня... Пыли-то, знаешь, на улице попристало немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку. (*Поворачивается.*) Так! спасибо, душенька. Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит! а на подборах-то сзади ничего нет? Спасибо, родимая! Вон тут еще, кажется. (*Гладит рукою рукав фрака и поглядывает на Анучкина и Ивана Павловича.*) Суконце-то ведь аглицкое! Ведь каково носится! В девяносто пятом году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир; в восемьсот первом, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом, – сукно было совсем новешенькое; в восемьсот четырнадцатом сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистерлось; в восемьсот пятнадцатом вышел в отставку, только перелицевал: уж десять лет ношу – до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька, м... раскрасоточка! (*Делает ей ручку и, подходя к зеркалу, слегка взъерошивает волосы.*)

Анучкин. А как, позвольте узнать, Сицилия... Вот вы изволили сказать: Сицилия, – хорошая это земля Сицилия?

Жевакин. А, прекрасная! Мы тридцать четыре дня там пробыли; вид, я вам доложу, восхитительный! эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать.

Анучкин. И хорошо образованны?

Жевакин. Превосходным образом! Так образованные, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице – ну, русский лейтенант... Натурально, здесь эполеты (*показывает на плеча*), золотое шитье... и эдак красоточки черномазенькие, – у них ведь возле каждого дома балкончики, и крыши, вот как этот пол, совершенно плоски. Бывало, эдак смотришь, и сидит эдакой розанчик... Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь... (*Кланяется и размахивает рукою.*) И она эдак только. (*Делает рукою движение.*) Натурально, одета: здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки... ну, словом, такой лакомый кусочек...

Анучкин. А как, позвольте еще вам сделать вопрос – на каком языке изъясняются в Сицилии?

Жевакин. А натурально, все на французском.

Анучкин. И все барышни решительно говорят по-французски?

Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слышал от них по-русски.

Анучкин. Ни одного слова?

Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба», – не поймет, ей-богу не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pane» или «portate vino!»² – поймет, и побежит, и точно принесет.

Иван Павлович. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали – мужик: что мужик, как он? так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет, или нет?

Жевакин. Не могу вам сказать: не заметил, пашут или нет, а вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу-с кладут. Перевозка тоже очень дешева; там все почти вода и везде гондолы... Натурально, сидит эдакая италианочка, такой розанчик, одета: манишечка, платочек... С нами были и аглицкие офицеры; ну, народ, так же как и наши, – моряки; и сначала, точно, было очень странно: не понимаешь друг друга, – но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать: покажешь, бывало, эдак на бутылку или стакан – ну, тотчас и знает, что это значит выпить; приставишь эдак кулак ко рту и скажешь только губами: паф-паф – знает: трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий, наши матросы в три дни каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.

Иван Павлович. А преинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?

Жевакин. Жевакин-с, лейтенант в отставке. Позвольте с своей стороны тоже спросить: с кем-с имею счастье изъясняться?

Иван Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница.

Жевакин (*недослышав*). Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебцем.

Иван Павлович. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя – Яичница.

Жевакин (*кланяясь*). Ах, извините! я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.

Иван Павлович. Да что делать? я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои отговорили: говорят, будет похоже на «собачий сын».

Жевакин. А это, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, – все были с престранными фамилиями: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев, лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан, бывало: «Эй, ты, Дырка, поди сюда!» И, бывало, над ним всегда пошутить. «Эх ты, дырка эдакой!» – говоришь, бывало, ему.

Слышен в сенях звонок. **Фекла** бежит через комнату отворять.

Яичница. А, здравствуй, матушка!

Жевакин. Здравствуй; как живешь, душа моя?

Анучкин. Здравствуйте, матушка Фекла Ивановна.

Фекла (*бежит впопыхах*). Спасибо, отцы мои! Здорова, здорова. (*Отворяет дверь*.)

В сенях раздаются голоса: «Дома?» – «Дома». Потом несколько почти неслышных слов, на которые Фекла отвечает с досадою: «Смотри ты какой!»

² Дайте хлеба... принесите вина! (ит.)

ЯВЛЕНИЕ XVII

Те же, **Кочкарев**, **Подколесин** и **Фекла**.

Кочкарев (*Подколесину*). Ты помни, только кураж, и больше ничего. (*Оглядывается и раскланивается с некоторым изумлением; про себя.*) Фу-ты, какая куча народу! Что это значит? Уж не женихи ли? (*Толкает Феклу и говорит ей тихо.*) С которых сторон понабрала ворон, а?

Фекла (*вполголоса*). Тут тебе ворон нет, всё честные люди.

Кочкарев (*ей*). Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные.

Фекла. Гляди налёт на свой полёт, а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп.

Кочкарев. Небось твои разживные, по дыре в кармане. (*Вслух.*) Да что она делает теперь? Ведь эта дверь, верно, к ней в спальню? (*Подходит к двери.*)

Фекла. Бесстыдник! говорят тебе, еще одевается.

Кочкарев. Эка беда! что ж тут такого? Ведь только посмотрю, и больше ничего. (*Смотрит в замочную скважину.*)

Жевакин. А позвольте мне полюбопытствовать тоже.

Яичница. Позвольте взглянуть мне только один разочек.

Кочкарев (*продолжая смотреть*). Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка.

Все, однако ж, обступают дверь и продираются взглянуть.

Чш... кто-то идет!

Все отскакивают прочь.

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, **Арина Пантелеймоновна** и **Агафья Тихоновна**. Все раскланиваются.

Арина Пантелеймоновна. А по какой причине изволили одолжить посещением?

Яичница. А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить.

Арина Пантелеймоновна. Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?

Яичница. Коллежский ассессор Иван Павлович Яичница.

Арина Пантелеймоновна. Прошу покорнейше садиться. (*Обращается к Жевакину и смотрит на него.*) А позвольте узнать...

Жевакин. Я тоже, в газетах вижу объявляют о чем-то: дай-ка, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка...

Арина Пантелеймоновна. А как-с по фамилии?

Жевакин. А лейтенант морской службы в отставке, Балтазар Балтазаров Жевакин-второй. Был у нас еще другой Жевакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку: был ранен, матушка, под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле прохватила – как иголкой сшило, так что, когда, бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. (*Обращаясь к Анучкину.*) А позвольте узнать, по какой причине?..

Анучкин. По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве...

Арина Пантелеймоновна. Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что насупротив, изволите жить?

Анучкин. Нет, я покамест живу еще на Песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда-с в соседство, в эту часть города.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. (*Обращаясь к Кочкареву.*) А позвольте узнать...

Кочкарев. Да неужли вы меня не узнаете? (*Обращаясь к Агафье Тихоновне.*) И вы также, сударыня?

Агафья Тихоновна. Сколько мне кажется, совсем не видала вас.

Кочкарев. Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели.

Агафья Тихоновна. Право, не знаю. Уж разве не у Бирюшкиных ли?

Кочкарев. Именно, у Бирюшкиных.

Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась.

Кочкарев. Как же, вышла замуж.

Агафья Тихоновна. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с дрожек.

Кочкарев. Да то-то я помню что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Как же, Илья Фомич Кочкарев, в родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том... Позвольте, позвольте (*берет за руку Подколесина и подводит его*): приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник; служит экспедитором, один все дела делает, усовершенствовал отличнейше свою часть.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Директор так только, для чина поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич Подколесин.

Арина Пантелеймоновна. Так-с. Прошу покорнейше садиться.

ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же и Стариков.

Стариков (*кланяясь живо и скоро, по-купчески, и слегка берясь в бока*). Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна. Ребята на Гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка!

Агафья Тихоновна (*отворачиваясь, с пренебрежением, вполголоса, но так, что он слышит*). Здесь не купеческая лавка.

Стариков. Вона! Аль невпопад пришли? Аль и без нас дело сварили?

Арина Пантелеймоновна. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич; хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться.

Все уселись. Молчание.

Ячница. Странная погода нынче: поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.

Агафья Тихоновна. Да-с, уж эта погода ни на что не похожа: иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.

Жевакин. Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время, – если пригонять, так выйдет к нашему февралю, – выйдешь, бывало, из дому: день солнечный, а потом эдак дождик, и смотришь, точно, как будто дождик.

Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело – не скучно; а если в одиночестве – так это просто...

Жевакин. О, смерть, совершенная смерть!..

Анучкин. Да-с, это можно сказать...

Кочкарев. Какое! Просто терзанье! жизни не будешь рад; не приведи бог испытать такое положение.

Яичница. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе, вы полагаете, быть приличнее мужу?

Жевакин. Хотели ли бы вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?

Кочкарев. Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.

Анучкин. Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества.

Яичница. Сударыня, разрешите вы!

Агафья Тихоновна молчит.

Фекла. Отвечай же, мать моя. Скажи им что-нибудь.

Яичница. Как же, матушка?..

Кочкарев. Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна?

Фекла (*тихо ей*). Скажи же, скажи: благодарствую, мол, с моим удовольствием. Не хорошо же так сидеть.

Агафья Тихоновна (*тихо*). Мне стыдно, право стыдно, я уйду, право уйду. Тетушка, посидите за меня.

Фекла. Ах, не делай этого сраму, не уходи; совсем острамишься. Они невесть что подумают.

Агафья Тихоновна (*так же*). Нет, право уйду. Уйду, уйду! (*Убегает.*)

Фекла и Арина Пантелеймовна уходят вслед за нею.

ЯВЛЕНИЕ XX

Те же, кроме ушедших.

Яичница. Вот тебе на, и ушли все! Это что значит?

Кочкарев. Что-нибудь, верно, случилось. **Жевакин.** Как-нибудь насчет дамского туалета... Эдак поправить что-нибудь... манишечку... пришпилить.

Фекла входит. Все к ней навстречу с вопросами: «Что, что такое?»

Кочкарев. Что-нибудь случилось?

Фекла. Как можно, чтобы случилось. Ей-богу, ничего не случилось.

Кочкарев. Да зачем же она вышла?

Фекла. Да пристыдили, потому и вышла; совсем исконфузили, так что не высидела на месте. Просит извинить: ввечеру-де на чашку чаю чтобы пожаловали. (*Уходит.*)

Яичница (*в сторону*). Ох уж эта мне чашка чаю! Вот за что не люблю сватаний – пойдет возня: сегодня нельзя, да пожалуйста завтра, да еще послезавтра на чашку, да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда.

Кочкарев (*Подколесину*). А ведь хозяйка недурна, а?

Подколесин. Да, недурна.

Жевакин. А ведь хозяйка-то хороша.

Кочкарев (*в сторону*). Вот черт побери! Этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. (*Вслух.*) Совсем нехороша, совсем нехороша.

Яичница. Нос велик.

Жевакин. Ну, нет, носа я не заметил. Она... эдакой розанчик.

Анучкин. Я сам тоже их мненья. Нет, не то, не то... Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?

Жевакин. Да что ж вы, смею спросить, не попробовали, не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знает.

Анучкин. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет, я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить – стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал.

Жевакин. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она...

Анучкин. А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала, а без того у ней и то, и это... (*показывает жестами*) – все уж будет не то.

Яичница (*в сторону*). Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да осмотрю со двора дом и флигеля: если только все как следует, так сего же вечера добыюсь дела. Эти женишки мне не опасны – народ что-то больно жиденский. Таких невесты не любят.

Жевакин. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?

Анучкин. А на Песках, в Петровском переулке.

Жевакин. Да-с, будет круг: я на острове, в Восемнадцатой линии; а впрочем, все-таки я вас поповою.

Стариков. Нет> тут что-то спесьевато. Ай припомните потом, Агафья Тихоновна, и нас. С моим почтением, господа! (*Кланяется и уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XXI

Подколесин и Кочкарев.

Подколесин. А что ж, пойдём и мы.

Кочкарев. Ну что, ведь правда, хозяйка мила?

Подколесин. Да что! мне, признаюсь, она не нравится.

Кочкарев. Вот на! это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.

Подколесин. Да так, как-то не того: и нос длинный, и по-французски не знает.

Кочкарев. Это еще что? тебе на что по-французски?

Подколесин. Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.

Кочкарев. Почему ж?

Подколесин. Да потому что... уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то.

Кочкарев. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица; такой девицы не сыщешь нигде.

Подколесин. Да мне самому сначала она было приглянулась, да после, как начали говорить: длинный нос, длинный нос, – ну, я рассмотрел, и вижу сам, что длинный нос.

Кочкарев. Эх ты, пирей, не нашел дверей! Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить; и я тоже не хвалил, – так уж делается. Это, брат, такая девица! Ты рассмотри только глаза ее: ведь это черт знает что за глаза: говорят, дышат! А нос – я не знаю, что за нос! белизна – алебастр! Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько.

Подколесин (*улыбаясь*). Да теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.

Кочкарев. Разумеется, хороша! Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изяснимся – и всё кончим!

Подколесин. Ну, этого я не сделаю.

Кочкарев. Отчего ж?

Подколесин. Да что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выберет.

Кочкарев. Ну да что тебе смотреть на них: боишься соперничества, что ли? Хочешь я их всех в одну минуту спроважу.

Подколесин. Да как же ты их спроводишь?

Кочкарев. Ну, уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.

Подколесин. Почему ж не дать? изволь. Я не отпираюсь: я хочу жениться.

Кочкарев. Руку!

Подколесин (*подавая*). Возьми!

Кочкарев. Ну, этого только мне и нужно.

Оба уходят.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

ЯВЛЕНИЕ I

Агафья Тихоновна одна, потом **Кочкарев**.

Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение – выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худошав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет что будет. (*Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает билетки и скатывает, продолжая говорить.*) Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что будет. (*Кладет билетки в ридикуль и мешает их рукою.*) Страшно... Ах, если бы бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не хочу... какой выберется, такой пусть и будет. (*Шарит рукою в ридикуле и вынимает вместо одного все.*) Ух! все! все вынулись! А сердце так и колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! (*Кладет билетки в ридикуль и мешает.*)

В это время входит потихоньку Кочкарев и становится позади.

Ах, если бы вынуть Балтазара... Что я! хотела сказать Никанора Ивановича... нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба!

Кочкарев. Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад.)*

Кочкарев. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах, мне стыдно, вы подслушали.

Кочкарев. Ничего, ничего! Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться; откройте же ваше личико.

Агафья Тихоновна *(вполовину открывая лицо)*. Мне, право, стыдно.

Кочкарев. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывается вновь руками.)*

Кочкарев. Право, чудо человек, усовершенствовал часть свою... просто удивительный человек.

Агафья Тихоновна *(понемногу открывает лицо)*. Как же, а другой? а Никанор Иванович? ведь он тоже хороший человек.

Кочкарев. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Отчего же?

Кочкарев. Ясно, отчего. Иван Кузьмич человек... ну, просто человек... человек, каких не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Ну, а Иван Павлович?

Кочкарев. И Иван Павлович дрянь! все они дрянь.

Агафья Тихоновна. Будто бы уж все?

Кочкарев. Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!

Агафья Тихоновна. А ведь, право, они очень... скромные.

Кочкарев. Какое скромные! Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы.

Агафья Тихоновна. Ах боже мой! Уже это точно такое несчастье, хуже которого не может быть.

Кочкарев. Еще бы! Хуже этого и не выдумаешь ничего.

Агафья Тихоновна. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. *(В сторону.)* Дело, кажется, идет на лад. Подколесин сидит в кондитерской, пойти поскорей за ним.

Агафья Тихоновна. Так вы думаете – Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Непременно Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. А тем, другим, разве отказать?

Кочкарев. Конечно, отказать.

Агафья Тихоновна. Да ведь как же это сделать? как-то стыдно.

Кочкарев. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.

Агафья Тихоновна. Да ведь они не поверят, станут спрашивать: да почему, да как?

Кочкарев. Ну, так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто: «Пошли вон, дураки!»

Агафья Тихоновна. Как же можно так сказать?

Кочкарев. Ну да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.

Агафья Тихоновна. Да ведь это выйдет уж как-то бранно.

Кочкарев. Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно?

Агафья Тихоновна. Да все как-то нехорошо... они ведь рассердятся.

Кочкарев. Какая ж беда, если рассердятся? Если бы из этого что бы нибудь вышло, тогда другое дело; а ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.

Агафья Тихоновна. Ну вот видите!

Кочкарев. Да что же за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес – плюнул в самое лицо, ей-богу! «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья, однако же, все-таки прибавил. Так что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане, – взял да и вытер.

В сенях звонят.

Стучатся: кто-нибудь из них, верно; я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?

Агафья Тихоновна. Как же, по черной лестнице. Но, право, я вся дрожу.

Кочкарев. Ничего, только присутствие духа. Прощайте! *(В сторону.)* Поскорей приведу Подколесина.

ЯВЛЕНИЕ II

Агафья Тихоновна и Яичница.

Яичница. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно: служу коллежским ассессором, любим начальниками, подчиненные слушаются... недостает только одного: подруги жизни.

Агафья Тихоновна. Да-с.

Яичница. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта – вы. Скажите напрямик: да или нет? *(Смотрит ей в плеча; в сторону.)* О, она не то, что как бывают худенькие немки, – кое-что есть!

Агафья Тихоновна. Я еще очень молода-с... не расположена еще замуж.

Яичница. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? изъяснитесь...

Слышен колокольчик.

Черт побери, никак не дадут делом заняться.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Жевакин.

Жевакин. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. *(Оборачивается и видит Яичницу.)* Ах, уж есть... Ивану Павловичу мое почтение!

Яичница *(в сторону.)* Провалился бы ты с своим почтением! *(Вслух.)* Так как же, сударыня?.. Скажите одно только слово: да или нет?..

Слышен колокольчик; Яичница плюет с сердцов.

Опять колокольчик!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Анучкин.

Анучкин. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует и повелевает долг приличия... (*Видя прочих, испускает восклицание и раскланивается.*) Мое почтение!

Яичница (*в сторону*). Возьми себе свое почтение! Нелегкая тебя принесла, подломились бы тебе твои поджарые ноги!

(*Вслух.*) Так как же, сударыня, решите, – я человек должностной, времени у меня немного: да или нет?

Агафья Тихоновна (*в смущении*). Не нужно-с... не нужно-с... (*В сторону.*) Ничего не понимаю, что говорю.

Яичница. Как не нужно? в каком отношении не нужно?

Агафья Тихоновна. Ничего-с, ничего... Я не того-с... (*Собираясь с духом.*) Пошли вон!.. (*В сторону, всплеснувши руками.*) Ах, боже мой, что я такое сказала?

Яичница. Как «пошли вон»? Что такое значит «пошли вон»? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? (*Подбоченившись подступает к ней грозно.*)

Агафья Тихоновна (*взглянув ему в лицо, вскрикивает*). Ух, прибьет, прибьет! (*Убегает.*)

Яичница стоит, разинувши рот. Вбегает на крик Арина Пантелеймоновна и, взглянув ему в лицо, вскрикивает тоже: «Ух, прибьет!» – и убегает.

Яичница. Что за притча такая. Вот, право, история!

В дверях звенит звонок и слышны голоса.

Голос Кочкарева. Да входи, входи, что ж ты остановился?

Голос Подколесина. Да ступай ты вперед. Я только на минуту: оправлюсь, расстегнулась стремешка.

Голос Кочкарева. Да ты улизнешь опять.

Голос Подколесина. Нет, не улизну! ей-богу, не улизну!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. Ну вот, очень нужно поправлять стремешку.

Яичница (*обращаясь к нему*). Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли?

Кочкарев. А что? случилось разве что?

Яичница. Да непонятные поступки: выбежала, стала кричать: «Прибьет, прибьет!» Черт знает что такое!

Кочкарев. Ну да, это за ней водится. Она дура.

Яичница. Скажите, ведь вы ей родственник?

Кочкарев. Как же, родственник.

Яичница. А как родственник, позвольте узнать?

Кочкарев. Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке – об этом знает жена моя, это их дело.

Яичница. И давно за ней водится дурь?

Кочкарев. А еще с самого сызмала.

Яичница. Да, конечно, лучше, если бы она была умней, а впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.

Кочкарев. Да ведь за ней ничего нет.

Яичница. Как так, а каменный дом?

Кочкарев. Да ведь только слава, что каменный, а знали бы вы, как он выстроен: стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь – мусор, щепки стружки.

Яичница. Что вы?

Кочкарев. Разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся дома? – лишь бы только в ломбард заложить.

Яичница. Однако ж ведь дом не заложен.

Кочкарев. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело – но только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом; сутяги такого свет не производил: с родной матери последнюю юбку снял, безбожник!

Яичница. Как же мне старуха сваха... Ах она бестия эдакая, изверг рода челове... (*В сторону.*) Однако ж он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, и если только правда... ну... я заставлю запеть ее не так, как другие поют.

Анучкин. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома, знает?..

Кочкарев. Ни бельмеса.

Анучкин. Что вы?

Кочкарев. Как же? я это очень хорошо знаю. Опа училась вместе с женой в пансионе, известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой.

Анучкин. Представьте же, что у меня с первого разу, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски.

Яичница. Ну, черт с французским! Но как сваха-то проклятая... Ах ты, бестия эдакая, ведьма! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала! Живописец, вот совершенный живописец! «Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани», – вот садись, да и катайся! – словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая! Попадись только ты мне...

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Фекла.

Все, увидев ее, обращаются к ней с следующими словами:

Яичница. А! вот она! А подойди-ка сюда, старая греховодница! а подойди-ка сюда!

Анучкин. Так-то вы обманули меня, Фекла Ивановна?

Кочкарев. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу!

Фекла. И ни слова не разберу: оглушили совсем!

Яичница. Дом строен в один кирпич, старая подошва, а ты наврала: и с мезонинами, и черт знает с чем.

Фекла. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.

Яичница. Да и в ломбард еще заложен! Черти б тебя съели, ведьма ты проклятая! (*Притопывая ногой.*)

Фекла. Смотри ты какой! Еще и бранится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем.

Анучкин. Да, Фекла Ивановна, вот вы и мне тоже насаждали, что она знает по-французски.

Фекла. Знает, родимый, всё знает, и по-немецкому, и по-всякому; какие хочешь манеры – всё знает.

Анучкин. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.

Фекла. Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кабы умела по-басурмански, то тебе же хуже – и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь! речь звестно какая: все святые говорили по-русски.

Яичница. А подойди-ка сюда, проклятая! подойди-ка ко мне!

Фекла (*потясь ближе к дверям*). И не подойду, я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что приберешь.

Яичница. Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе! Бот я тебя как сведу в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь! А невесте скажи, что она подлец! Слышишь, непременно скажи. (*Уходит.*)

Фекла. Смотри ты какой! расхотелся как! Что толст, так думает, ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец, вот что!

Анучкин. Признаюсь, любезнейшая, никак не думал я, чтобы вы стали так обманывать. Знай я, что невеста с таким образованием, да я... да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как-с. (*Уходит.*)

Фекла. Белены объелись или выпили лишнее! Вишь, переборщики нашлись какие! Свела с ума глупая грамота!

ЯВЛЕНИЕ VII

Фекла, Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев хохочет во все горло, смотря на Феклу и указывая на нее пальцем.

Фекла (*с досадою*). Ты что горло дерешь?

Кочкарев продолжает хохотать.

Эк как разобрало его!

Кочкарев. Сваха-то! сваха-то! Мастерница женить! знает, как повести дело! (*Продолжает хохотать.*)

Фекла. Эк его заливаается! Знать, покойница свихнула с ума в тот час, как тебя рожала! (*Уходит с досадою.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев (*продолжает хохотать*). Ох, не могу, право не могу! Силы не выдержат, чувствую, что тресну от смеха! (*Продолжает хохотать.*)

Жевакин, глядя на него, начинает тоже смеяться.

(*В усталости валится на стул.*) Ох, право, выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.

Жевакин. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого нрава. Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец – вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется.

Ну, глядя на него, бывало, и себе делается смешно, и смотришь, наконец и сам точно эдак смеешься.

Кочкарев (*переводя дыхание*). Ох, господи, помилуй нас, грешных! Ну что она вздумала, дура? Ну, куда ж ей женить, ей ли женить? Вот я женю так женю!

Жевакин. Нет? так вы можете не в шутку женить?

Кочкарев. Еще бы! кого угодно на ком угодно.

Жевакин. Если так, жените меня на здешней хозяйке.

Кочкарев. Вас? да зачем вам жениться?

Жевакин. Как зачем? вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос! А известное дело зачем.

Кочкарев. Да ведь вы слышали, у ней приданого ничего нет.

Жевакин. На нет и суда нет. Конечно, это дурно, а впрочем, с эдакою прелюбезною девицею, с ее обхожденьями, можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка (*размеривает примерно руками*), эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки...

Кочкарев. Да что вам в ней так понравилось?

Жевакин. А сказать правду – мне понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматёр со стороны женской полноты.

Кочкарев (*поглядывая на него искоса, говорит в сторону*). А ведь сам уж куды не пошеголяет; точно кисет, из которого вытрясли табак. (*Вслух.*) Нет, вам совсем не следует жениться.

Жевакин. Как так?

Кочкарев. Да так. Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья...

Жевакин. Петушья?

Кочкарев. Конечно. Что с вас за вид!

Жевакин. То есть как, однако же, петушья нога?

Кочкарев. Да просто, петушья.

Жевакин. Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности...

Кочкарев. Да ведь я говорю потому, что знаю: вы рассудительный человек; другому я не скажу. Я вас женю, извольте, – только на другой.

Жевакин. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой.

Кочкарев. Извольте, женю! Только с условием: вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я всё сделаю без вас.

Жевакин. Да как, однако же, всё без меня? Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться.

Кочкарев. Совсем не нужно. Идите домой и ждите; сего же вечера все будет сделано.

Жевакин (*потирает руки*). А вот это уж куды бы хорошо! Да не нужно ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ними в минуту.

Кочкарев. Ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать. (*Выпровождает его.*) Да, черта с два, как бы не так! Что ж это? Что ж это Подколесин не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?

ЯВЛЕНИЕ IX

Кочкарев, Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна (*осматриваясь*). Что, ушли? никого нет?

Кочкарев. Ушли, ушли, никого.

Агафья Тихоновна. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала! Эдакого, точно, еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот Яичница! Какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас вернется.

Кочкарев. О, ни за что не вернется. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь.

Агафья Тихоновна. А третий?

Кочкарев. Какой третий?

Жевакин (*высовывает голову в двери*). Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком... розанчик эдакой!

Агафья Тихоновна. А Балтазар Балтазарович?

Жевакин. А, вот оно! вот оно! (*Потирает руки.*)

Кочкарев. Фу-ты, пропасть! Я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак.

Жевакин. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.

Агафья Тихоновна. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.

Кочкарев. Пьяница!

Жевакин. Ей-богу, не понимаю.

Агафья Тихоновна. Неужели и пьяница еще?

Кочкарев. Помилуйте, отъявленный мерзавец!

Жевакин (*громко*). Нет, позвольте, уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит, похвалить – другое дело; а чтобы эдаким образом, эдакими словами – уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный!

Кочкарев (*в сторону*). Как это угораздило его подвернуться? (*Агафье Тихоновне, вполголоса.*) Смотрите, смотрите: на ногах не держится. Эдакое мыслете он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду! (*В сторону.*) А Подколесина нет как нет. Экой мерзавец! Уж я ж вымещу на нем! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ X

Агафья Тихоновна и Жевакин.

Жевакин (*в сторону*). Обещался хвалить, а вместо того выбранил! Престранный человек! (*Вслух.*) Вы, сударыня, не верьте...

Агафья Тихоновна. Извините, мне нездоровится... болит-с голова. (*Хочет уйти.*)

Жевакин. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? (*Указывая на голову.*) Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки; волоса сейчас вырастут.

Агафья Тихоновна. Мне все равно-с, что бы у вас там ни было.

Жевакин. У меня, сударыня... если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.

Агафья Тихоновна. Для вас лучше. Прощайте! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Жевакин один, говорит вслед ей.

Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли?.. Ушла! Престранный случай! Вот уж, никак, в семнадцатый раз случается со мною, и всё почти одинаким образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки – смотришь, и откажут. (*Ходит по комнате в размышлении.*) Да... Вот эта уж будет никак семнадцатая невеста! И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей,

например, эдак... с какой стати... (*Подумав.*) Темно, чрезвычайно темно! Добро бы был нехорош чем. (*Осматривается.*) Кажется, нельзя сказать этого – всё слава богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит... Ей-богу, уму непонятно! Сначала, кажись, повезло... Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль, право жаль. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XII

Подколесин и **Кочкарев** входят и оба оглядываются назад.

Кочкарев. Он не заметил нас! Видел, с каким длинным носом вышел?

Подколесин. Неужели и ему так же отказано, как и тем?

Кочкарев. Наотрез.

Подколесин (*с самодовольною улыбкой*). А преконфузно, однако же, должно быть, если откажут.

Кочкарев. Еще бы!

Подколесин. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.

Кочкарев. Какое предпочитает! Она от тебя просто без памяти. Такая любовь: одних имен каких надавала. Такая страсть – так просто и кипит!

Подколесин (*самодовольно усмехается*). А ведь в самом деле – женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка...

Кочкарев. Что еще эти слова! Вот как женишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, ну вот так и таешь.

Подколесин (*усмехается*). Будто?

Кочкарев. Как честный человек! Послушай, теперь, однако ж, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.

Подколесин. Но как же сию минуту? что ты!

Кочкарев. Непременно сию же минуту... А вот и она сама.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного – просто не приведи бог, и неприятелю не пожелаю...

Подколесин (*толкая его под руку, тихо*). Ну, уж ты, брат, кажется, слишком.

Кочкарев (*ему*). Ничего, ничего. (*Ей тихо.*) Будьте посмелее, он очень смирен; старайтесь быть как можно развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея, или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его, мерзавец, смотрит! Напрасно, впрочем, вы не надели платья с короткими рукавами; да, впрочем, и это хорошо. (*Вслух.*) Ну, я оставляю вас в приятном обществе! Я на минуточку загляну только к вам в столовую и на кухню; нужно распорядиться: сейчас придет официант, которому заказан ужин; может быть, и вина принесены... До свиданья! (*Подколесину.*) Смелее, смелее! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XIV

Подколесин и **Агафья Тихоновна.**

Агафья Тихоновна. Прошу покорнейше садиться.

Садятся и молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, любите кататься?

Агафья Тихоновна. Как-с кататься?

Подколесин. На даче очень приятно летом кататься в лодке.

Агафья Тихоновна. Да-с, иногда с знакомыми прогуливаемся.

Подколесин. Какое-то лето будет – неизвестно.

Агафья Тихоновна. А желательно чтобы было хорошее.

Оба молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, какой цветок больше любите?

Агафья Тихоновна. Который покрепче пахнет-с: гвоздику-с.

Подколесин. Дамам очень идут цветы.

Агафья Тихоновна. Да, приятное занятие.

Молчание.

В которой церкви вы были прошлое воскресенье?

Подколесин. В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.

Молчат, Подколесин барабанит пальцами по столу.

Вот скоро будет екатерингофское гулянье.

Агафья Тихоновна. Да, чрез месяц, кажется.

Подколесин. Даже и месяца не будет.

Агафья Тихоновна. Должно быть, веселое будет гулянье.

Подколесин. Сегодня восьмое число. (*Считает по пальцам.*) Девятое, десятое, одиннадцатое... чрез двадцать два дни.

Агафья Тихоновна. Представьте, как скоро!

Подколесин. Я сегодняшнего дни даже не считаю.

Молчание.

Какой это смелый русский народ!

Агафья Тихоновна. Как?

Подколесин. А работники. Стоит на самой верхушке...

Я проходил мимо дома, так щекатурщик штукатурит и не боится ничего.

Агафья Тихоновна. Да-с. Так это в каком месте?

Подколесин. А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.

Молчание. Подколесин опять начинает барабанить пальцами, наконец берется за шляпу и раскланивается.

Агафья Тихоновна. А вы уже хотите...

Подколесин. Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам.

Агафья Тихоновна. Как-с можно! Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.

Подколесин (*улыбаясь*). А мне так, право, кажется, что я наскучил.

Агафья Тихоновна. Ах, право, нет.

Подколесин. Ну, так если нет, так позвольте мне и в другое время, вечерком когда-нибудь...

Агафья Тихоновна. Очень приятно-с.

Раскланиваются. Подколесин уходит.

ЯВЛЕНИЕ XV

Агафья Тихоновна одна.

Какой достойный человек! Я теперь только узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить: и скромный, и рассудительным. Да, приятель его давеча справедливо сказал; жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить! И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела, сердце так стало биться... Какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XVI

Подколесин и **Кочкарев** входят.

Кочкарев. Да зачем домой? Вздор какой! Зачем домой?

Подколесин. Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.

Кочкарев. Стало быть, сердце ей ты уж открыл?

Подколесин. Да вот только разве что сердца еще не открыл.

Кочкарев. Вот те история! Зачем же не открыл?

Подколесин. Ну, да как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать с боку припеку: «Сударыня, дайте я на вас женюсь!»

Кочкарев. Ну да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?

Подколесин. Ну, мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен; с большим удовольствием провел время.

Кочкарев. Да послушай, посуди ты сам: когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь, под венец.

Подколесин. Что ты, с ума сошел? Сегодня под венец!

Кочкарев. Почему ж нет?

Подколесин. Сегодня под венец!

Кочкарев. Да ведь ты ж сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны – сейчас готов жениться.

Подколесин. Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же; месяц, по крайней мере, нужно дать роздыху.

Кочкарев. Месяц!

Подколесин. Да, конечно.

Кочкарев. Да ты с ума сошел, что ли?

Подколесин. Да меньше месяца нельзя.

Кочкарев. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямясь, душенька, женись теперь.

Подколесин. Помилуй, брат, что ты говоришь? как же теперь?

Кочкарев. Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. Если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере.

Подколесин. Да, право, нельзя.

Кочкарев. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька!

Подколесин. Да, право, нет. Неловко, совсем неловко.

Кочкарев. Да что неловко? кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а просто говорю из любви... Ну, полно же, душенька, решишь, взгляни оком благоразумного человека.

Подколесин. Да если бы было можно, так я бы...

Кочкарев. Иван Кузьмич! Лапушка, милочка! Ну хочешь ли, я стану на колени перед тобой?

Подколесин. Да зачем же?..

Кочкарев (*становясь на колени*). Ну, вот я и на коленях! Ну, видишь сам, прошу тебя. Век не забуду твоей услуги, не упрямся, душенька!

Подколесин. Ну нельзя, брат, право, нельзя.

Кочкарев (*вставая, в сердцах*). Свинья!

Подколесин. Пожалуй, бранись себе.

Кочкарев. Глупый человек! Еще никогда не было такого.

Подколесин. Бранись, бранись.

Кочкарев. Я для кого же старался, из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы. Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя; мне какое дело?

Подколесин. Да кто ж просил тебя хлопотать? Пожалуй, бросай.

Кочкарев. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.

Подколесин. Тебе что до того?

Кочкарев. О тебе, деревянная башка, стараюсь.

Подколесин. Я не хочу твоих стараний.

Кочкарев. Ну так ступай же к черту!

Подколесин. Ну и пойду.

Кочкарев. Туда тебе и дорога!

Подколесин. Что ж, и пойду.

Кочкарев. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку! Тряпка, а не чиновник! Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось, и на глаза мне больше не показывайся!

Подколесин. И не покажусь. (*Уходит.*)

Кочкарев. К дьяволу, к своему старому приятелю! (*Отворяя дверь, кричит ему вслед.*) Дурак!

ЯВЛЕНИЕ XVII

Кочкарев один, ходит в сильном движении взад и вперед.

Ну был ли когда виден на свете подобный человек? Эдакой дурак! Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что он мне? родня, что ли? И что я ему такое: нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем? А просто черт знает из чего! Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает! Эдакой мерзавец!

Какая противная, подлая рожа! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы – во всякое место! (*В сердцах дает несколько щелчков на воздух.*) Ведь вот что досадно: вышел себе – ему и горя мало; с него все это так, как с гуся вода, – вот что нестерпимо! Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное создание! Бывают противные рожи, но ведь эдакой просто не выдумаешь; не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу не сочинишь! Так вот нет же, пойду нарочно ворочу его, бездельника! Не дам улизнуть, пойду приведу подлеца! (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Агафья Тихоновна входит.

Уж так, право, бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куды ни поворочусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давича совершенно хотела было думать о другом, но чем ни займусь – пробовала сматывать нитки, шила ридикуль, – а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. (*Помолчав.*) И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния! Возьмут меня, поведут в церковь... потом оставят одну с мужчиною – уф! Дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь! (*Плачет.*) Столько лет провела в спокойствии... Вот жила, жила – а теперь приходится выходить замуж! Одних забот сколько: дети, мальчишки, народ драчливый; а там и девочки пойдут; подрастут – выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что ни есть на нем! (*Начинает мало-помалу опять рыдать.*) Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием, и двадцати семи лет не пробыла в девках... (*Переменяя голос.*) Да что ж Иван Кузьмич так долго мешкается?

ЯВЛЕНИЕ XIX

Агафья Тихоновна и **Подколесин** (выталкивается на сцену из дверей двумя руками **Кочкарева**).

Подколесин (*запинаясь*). Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце... Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным?

Агафья Тихоновна (*потупляя глаза*). Что же такое?

Подколесин. Нет, сударыня, вы скажите наперед: не покажется ли вам странно?

Агафья Тихоновна (*так же*). Не могу знать, что такое.

Подколесин. Но признайтесь: верно, вам покажется странным то, что я вам скажу?

Агафья Тихоновна. Помилуйте, как можно, чтобы было странно, – от вас все приятно слышать.

Подколесин. Но этого вы еще никогда не слышали.

Агафья Тихоновна потупляет еще более глаза; в это время входит потихоньку **Кочкарев** и становится у него за плечами.

Это вот в чем... Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.

Агафья Тихоновна. А что же это такое?

Подколесин. А это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это, да все еще как-то сомневаюсь.

Кочкарев (*про себя, складывая руки*). Господи ты боже мой, что это за человек! Это просто старый бабий башмак, а не человек, насмешка над человеком, сатира на человека!

Агафья Тихоновна. Отчего же вы сомневаетесь?

Подколесин. Да все как-то берет сомнение.

Кочкарев (*вслух*). Как это глупо, как это глупо! Да вы, сударыня, видите: он просит руки вашей, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить.

Подколесин (*почти испугавшись, толкает его, произнося тихо*). Помилуй, что ты!

Кочкарев. Так что ж, сударыня! Решаетесь вы сему смертному доставить счастье?

Агафья Тихоновна. Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье... А впрочем, я согласна.

Кочкарев. Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки!

Подколесин. Сейчас! (*Хочет сказать что-то ему на ухо. Кочкарев показывает ему кулак и хмурит брови; он дает руку.*)

Кочкарев (*соединяя руки*). Ну, бог вас благословит! Согласен и одобряю ваш союз. Брак – это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать.

Агафья Тихоновна потупляет глаза.

Ничего, ничего, сударыня; это так должно, пусть поцелует.

Подколесин. Нет, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. (*Целует ее и берет за руку.*) Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка?.. Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчанье, непременно сей же час.

Агафья Тихоновна. Как сейчас? Уж это, может быть, очень скоро.

Подколесин. И слышать не хочу! Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчанье.

Кочкарев. Браво! хорошо! Благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем! Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь поскорее одеться: я, сказать правду, послал уже за каретою и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.

Агафья Тихоновна. Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь.

ЯВЛЕНИЕ XX

Кочкарев и Подколесин.

Подколесин. Ну, брат, благодарю! Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня не сделал бы того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат, век буду помнить твою услугу. (*Тронутый.*) Будущей весною навещу непременно могилу твоего отца.

Кочкарев. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. (*Целует его в одну щеку, а потом в другую.*) Дай бог, чтоб ты прожил благополучно (*целуются*), в довольстве и достатке; детей бы нажили кучу...

Подколесин. Благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мною открылся совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет.

Кочкарев. Рад, рад! Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол; в минуту ворочусь. (*В сторону.*) А шляпу все лучше на всякий случай припрятать. (*Берет и уносит шляпу с собою.*)

ЯВЛЕНИЕ XXI

Подколесин один.

В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, – словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся; а ведь если рассмотреть – какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека!.. Право, как подумаешь: чрез несколько минут – и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое, точно, бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. *(После некоторого молчанья.)* Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего – все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться: чрез минуту и под венец; уйти даже нельзя – там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти? Как же, натурально нельзя: там в дверях и везде стоят люди; ну спросят: зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто; что, если бы в окно? Нет, нельзя; как же, и неприлично, да и высоко. *(Подходит к окну.)* Ну, еще не так высоко: только один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, со мной даже нет картуза. Как же без шляпы? неловко. А неужто, однако же, нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? *(Становится на окно и, сказавши: «Господи благослови», – соскакивает на улицу; за сценой кричат и охают.)* Ох! однако ж высоко! Эй, извозчик!

Голос извозчика. Подавать, что ли?

Голос Подколесина. На Канавку, возле Семеновского мосту.

Голос извозчика. Да гривенник, без лишнего.

Голос Подколесина. Давай! пошел!

Слышен стук отъезжающих дрожек.

ЯВЛЕНИЕ XXII

Агафья Тихоновна входит в венчалном платье, робко и потупив голову.

И сама не знаю, что со мною такое! Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах! если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он за чем-нибудь вышел! *(С робостью оглядывается.)* Да где ж это он? Никого нет. Куда же он вышел? *(Отворяет дверь в прихожую и говорит туда.)* Фекла, куда ушел Иван Кузьмич?

Голос Феклы. Да он там.

Агафья Тихоновна. Да где же там?

Фекла (входя). Да ведь он тут сидел, в комнате.

Агафья Тихоновна. Да ведь нет его, ты видишь.

Фекла. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей.

Агафья Тихоновна. Да где же он?

Фекла. Я уж не знаю где; не вышел ли на другой выход, по черной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны?

Агафья Тихоновна. Тетушка! тетушка!

ЯВЛЕНИЕ XXIII

Те же и Арина Пантелеймоновна.

Арина Пантелеймоновна (*раздетая*). А что такое?

Агафья Тихоновна. Иван Кузьмич у вас?

Арина Пантелеймоновна. Нет, он тут должен быть; ко мне не заходил.

Фекла. Ну, так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела.

Агафья Тихоновна. Ну, так и здесь же нет его, вы видите.

ЯВЛЕНИЕ XXIV

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. А что такое?

Агафья Тихоновна. Да Ивана Кузьмича нет.

Кочкарев. Как нет? ушел?

Агафья Тихоновна. Нет, и не ушел даже.

Кочкарев. Как же – и нет, и не ушел?

Фекла. Уж куда бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.

Арина Пантелеймоновна. Ну, уж по черной лестнице никак не мог пройти.

Кочкарев. Как же, черт возьми? Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли?.. Иван Кузьмич! где ты? не дурачься, полно, выходи скорее! Ну что за шутки такие? в церковь давно пора! (*Заглядывает за шкаф, искоса запускает даже глаз под стулья.*) Непонятно! Но нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь; в той комнате и шляпа, я ее нарочно положил туда.

Арина Пантелеймоновна. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь... Дуняшка! Дуняшка!..

ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же и Дуняшка.

Арина Пантелеймоновна. Где Иван Кузьмич, ты не видала?

Дуняшка. Да оне-с выпрыгнули в окошко.

Агафья Тихоновна вскрикивает, всплеснувши руками.

Все трое. В окошко?

Дуняшка. Да-с, а потом как выскочили, взяли извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна. Да ты вправду говоришь?

Кочкарев. Врешь, не может быть!

Дуняшка. Ей-богу, выскочили! Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривенника извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна (*подступая к Кочкареву*). Что ж вы, батюшка, в издевку-то разве, что ли? посмеяться разве над нами задумали? на позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого страму еще не наживала. Да я за то, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. Осрамить перед всем миром девушку! Я – мужичка, да не сделаю этого. А еще и дворянин!

Видно, только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства! (*Уходит в сердцах и уводит невесту.*)

Кочкарев стоит как ошеломленный.

Фекла. Что? А вот он тот, что знает повести дело! без свахи умеет заварить свадьбу! Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна, – таких нет, прошу простить.

Кочкарев. Это вздор, это не так, я побегу к нему, я возвращу его! (*Уходит.*)

Фекла. Да, поди ты, вороти! Дела-то свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал – ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно – уж тут просто мое почтение!

Игроки

Дела давно минувших дней

Комната в городском трактире.

ЯВЛЕНИЕ I

Ихарев входит в сопровождении трактирного слуги **Алексея** и своего собственного, **Гаврюшки**.

Алексей. Пожалуйте-с, пожалуйста! Вот-с покойчик! уж самый покойный, и шуму нет вовсе.

Ихарев. Шума нет, да, чай, конного войска вдоволь, скакунов?

Алексей. То есть изволите говорить насчет блох? Уж будьте покойны. Если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность: уж с тем стоим.

Ихарев (*Гаврюшке*). Ступай выносить из коляски.

Гаврюшка уходит.

(*Алексею.*) Тебя как зовут?

Алексей. Алексей-с.

Ихарев. Ну, послушай (*значительно*), рассказывай, кто у вас живет?

Алексей. Да живут теперь много; все номера почти заняты.

Ихарев. Кто же именно?

Алексей. Швохнев Петр Петрович, Кругель полковник, Степан Иванович Утешительный.

Ихарев. Играют?

Алексей. Да вот уж шесть ночей сряду играют.

Ихарев. Пара целковиков! (*Сует ему в руку.*)

Алексей (*кланяясь*). Покорнейше благодарю.

Ихарев. После еще будет.

Алексей. Покорнейше-с благодарю.

Ихарев. Между собой играют?

Алексей. Нет, недавно обыграли поручика Артуновского, у князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысяч.

Ихарев. Вот тебе еще красная бумажка! А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал?

Алексей. Нет-с, они сами брали вместе.

Ихарев. Да у кого?

Алексей. Да у здешнего купца Вахрамейкина.

Ихарев. Врешь, врешь, плут!

Алексей. Ей-богу.

Ихарев. Хорошо. Мы с тобой потолкуем ужо.

Гаврюшка вносит шкатулку.

Ставь ее здесь. Теперь ступайте приготовьте мне умыться и побриться.

Слуги уходят.

ЯВЛЕНИЕ II

Ихарев один, отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами.

Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. Потом, трудом досталась всякая. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодишка – просто перл! За то ж ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя, выиграй мне также восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве закажу. *(Услышав шум, поспешно закрывает шкатулку.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Алексей и **Гаврюшка** несут лоханку, рукомойник и полотенца.

Ихарев. Что, эти господа где теперь? Дома?

Алексей. Да-с, они теперь в общей зале.

Ихарев. Пойду взглянуть на них, что за народ. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Алексей и **Гаврюшка.**

Алексей. Что, издалека едете?

Гаврюшка. А из Рязани.

Алексей. А сами тамошней губернии?

Гаврюшка. Нет, сами из Смоленской.

Алексей. Так-с. Так поместье-то, выходит, в Смоленской губернии?

Гаврюшка. Нет, не в Смоленской. В Смоленской сто душ да в Калужской восемьдесят.

Алексей. Понимаю, в двух, то есть, губерниях.

Гаврюшка. Да, в двух губерниях. У нас одной дворни: Игнатий буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван – тоже опять лакей. Иван псарь. Иван, опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух садовник, Дементий кучер. Вот как у нас.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, Кругель, Швохнев (осторожно входя).

Кругель. Право, я боюсь, чтоб он нас не застал здесь.

Швохнев. Ничего, Степан Иванович его удержит. *(Алексею.)* Ступай, брат, тебя зовут!

Алексей уходит. **Швохнев**, подходя поспешно к **Гаврюшке**.

Откуда барин?

Гаврюшка. Да теперь из Рязани.

Швохнев. Помещик?

Гаврюшка. Помещик.

Швохнев. Играет?

Гаврюшка. Играет.

Швохнев. Вот тебе красуля. *(Дает ему бумажку.)* Рассказывай все!

Гаврюшка. Да вы не скажете барину?

Оба. Ни-ни, не бойся!

Швохнев. Что, как он теперь, в выигрыше? а?

Гаврюшка. Да вы полковника Чеботарева не знаете?

Швохнев. Нет, а что?

Гаврюшка. Недели три тому назад мы его обыграли на восемьдесят тысяч деньгами, да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты одной выжиги дали на шестьсот рублей.

Швохнев (*взглянув на Кругеля значительно*). А? Восемьдесят тысяч!

Кругель покачал головою.

Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. (*Гаврюшке*.) Послушай, когда барин остается дома один, что делает?

Гаврюшка. Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает.

Швохнев. Врешь, чай, карт из рук не выпускает.

Гаврюшка. Не могу знать, я с барином всего две недели. С ним прежде все Павлушка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер, да намедни из деревни одного взяли.

Швохнев (*Кругелю*). Думаешь, шулер?

Кругель. И очень может быть.

Швохнев. А попробовать все-таки попробуем.

Оба убегают.

ЯВЛЕНИЕ VI

Гаврюшка один.

Проворные господа! А за бумажку спасибо. Будет Матрене на чепец да пострельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жисть! Уж всегда что-нибудь приобретешь: барин пошлет купить чего-нибудь – все уж с рубля гривенничек положишь себе в карман. Как подумаешь, что за житье господам на свете! куда хошь катай! В Смоленске наскучило, поехал в Рязань, не захотел в Рязань – в Казань. В Казань не захотел, валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней – Рязань или Казань? Казань будет потому партикулярней, что в Казани...

ЯВЛЕНИЕ VII

Ихарев, Гаврюшка, потом Алексей.

Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем... Эх, хотелось бы мне их обчистить! Господи боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право, сердце бьется. (*Берет щетку, мыло, садится перед зеркалом и начинает бриться*.) Просто рука дрожит, никак не могу бриться.

Входит **Алексей**.

Алексей. Не прикажете ли чего покушать?

Ихарев. Как же, как же. Принеси закуску на четыре человека. Икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчас его (*указывая на Гаврюшку*).

Алексей (*Гаврюшке*). Пожалуйте в кухню, там для вас приготовлено.

Гаврюшка уходит.

Ихарев (*продолжая бриться*). Послушай! Много они тебе дали?

Алексей. Кто-с?

Ихарев. Ну, да уж не изворачивайся, говори!

Алексей. Да-с, за прислугу пожаловали.

Ихарев. Сколько? пятьдесят рублей?

Алексей. Да-с, пятьдесят рублей дали.

Ихарев. А от меня не пятьдесят, а вон, видишь, на столе лежит сторублевая бумажка, возьми ее. Что боишься? не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честно-сти, понимаешь? Карты пусть будут у Вахрамейкина или у другого купца, это не мое дело, а вот тебе в придачу от меня дюжину. (*Дает ему запечатанную дюжину.*) Понимаешь?

Алексей. Да уж как не понять? Извольте положиться, это уж наше дело.

Ихарев. Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. (*Кладет щетку и мыло и вытирается полотенцем.*)

Алексей уходит.

Хорошо бы было и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется поддеть их.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Швахнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами.

Ихарев (*с поклоном к ним навстречу*). Прошу простить. Комната, как видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утешительный. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств.

Швахнев. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми.

Утешительный. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. (*Кругелю.*) Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюда: один-одинешенек. Вообразите: знакомых никого. Хозяйка – старуха. На лестнице какая-то поломойка, урод естест-веннейший; вижу, увивается около нее какой-то армейщина, видно натошцах... Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, а потом случай свел с ним... Ну, уж как я был рад! Не могу, не могу часу пробыть без дружеского общества. Все что ни есть на душе готов рассказать каждому.

Кругель. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут.

Утешительный. Да, обманывался, обманывался и всегда буду обманываться. А все-таки не могу без откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно: быть откровенно со всяким. Дружба – это другое дело.

Утешительный. Так, но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Швахнев (*Утешительному*). Не спорь, брат, ты не прав.

Утешительный (*горячась*). Нет, я докажу. Это обязанность... Это, это, это... это долг! это, это, это...

Швохнев. Ну, зарпортовался! Горяч необыкновенно: еще первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймешь.

Утешительный. Не могу, не могу! Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ничего не помню. Я обыкновенно вперед уж объявляю: «Господа, если будет о чем подобном толк, извините, увлекусь, право увлекусь». Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит, так и кипит.

Ихарев (*про себя*). Ну нет, приятель! Знаем мы тех людей, которые увлекаются и горячатся при слове «обязанность». У тебя, может быть, и кипит желчь, да только не в этом случае. (*Вслух.*) А что, господа, покамест спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик?

В продолжение их разговора приготовлен на столе завтрак.

Утешительный. Извольте; если не в большую игру, почему нет?

Кругель. От невинных удовольствий я никогда не прочь.

Ихарев. А что, ведь в здешнем трактире, чай, есть карты?

Швохнев. О, только прикажите.

Ихарев. Карты!

Алексей хлопчет около карточного стола.

А между тем прошу, господа! (*Указывая рукой на закуску и подходя к ней.*) Балык, кажется, не того, а икра еще так и смяк.

Швохнев (*посылая в рот кусок*). Нет, и балык того.

Кругель (*так же*). И сыр хорош. Икра тоже недурна.

Швохнев (*Кругелю*). Помнишь, какой отличный сыр ели мы недели две тому назад?

Кругель. Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова.

Утешительный. Да ведь сыр, почтеннейший, когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой, – вот где его настоящее значение. Он все равно что добрый квартиермистр, говорит: «Добро пожаловать, господа, есть еще место».

Ихарев. Добро пожаловать, господа, карты на столе.

Утешительный (*подходя к карточному столу*). А вот оно, старина, старина! Слышь, Швохнев, карты, а? Сколько лет...

Ихарев (*в сторону*). Да полно тебе корчить!..

Утешительный. Хотите вы держать банчик?

Ихарев. Небольшой – извольте, пятьсот рублей. Угодно снять? (*Мечет банк.*)

Начинается игра. Раздаются восклицания:

Швохнев. Четверка, тузик, оба по десяти.

Утешительный. Подай-ка, брат, мне свою колоду; я выберу себе карту на счастье нашей губернской предводительши.

Кругель. Позвольте присовокупить девяточку.

Утешительный. Швохнев, подай мел. Приписываю и списываю.

Швохнев. Черт побери, паролé!

Утешительный. И пять рублей мазу!

Кругель. Атанде! Позвольте посмотреть, кажется, еще две тройки должны быть в колоде.

Утешительный (*вскакивает с места, про себя*). Черт побери, тут что-то не так. Карты другие, это очевидно.

Игра продолжается.

Ихарев (*Кругелю*). Позвольте узнать: обе идут?

Кругель. Обе.

Ихарев. Не возвышаете?

Кругель. Нет.

Ихарев (*Швохневу*). А вы что ж? не ставите?

Швохнев. Позвольте мне эту талию переждать. (*Встает со стула, торопливо подходит к Утешительному и говорит скоро.*) Черт возьми, брат! И передергивает, и все что хочешь. Шулер первой степени!

Утешительный (*в волнение*). Неужли, однако ж, отказаться от восьмидесяти тысяч?

Швохнев. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.

Утешительный. Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться!

Швохнев. Как?

Утешительный. Открыться ему во всем.

Швохнев. Для чего?

Утешительный. После скажу. Пойдем.

Подходят оба к Ихареву и ударяют его с обеих сторон по плечу.

Да полно вам тратить попусту заряды!

Ихарев (*вздвигнув*). Как?

Утешительный. Да что тут толковать, свой своего разве не узнал?

Ихарев (*учтиво*). Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуместь?..

Утешительный. Да просто, без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешней, чем порознь.

Ихарев. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших?..

Утешительный. Да вот в какой степени: за искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу?

Ихарев. От такого радушного предложения не могу отказаться.

Утешительный. Итак, подадимте же, всякий из нас, друг другу руки.

Все попеременно пожимают руку Ихареву.

Отныне все общее, притворство и церемония в сторону! Позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний?

Ихарев. Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе во время профессорских лекций я уже под скамьей держал банк моим товарищам.

Утешительный. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобрести, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка?

Ихарев. Какого ребенка?

Утешительный. А вот расскажи!

Швохнев. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять (*указывая на Утешительного*), Андрей Иванович Пяткин: «Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик одиннадцати лет, сын Ивана Михаловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри!» Я, признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михаловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю: «Извините, я слышал, что бог наградил вас необыкновенным сыном». – «Да, признаюсь, говорит (и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), да, говорит, точно: хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечу не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать – я просто потерялся. Это превосходит всякое описание.

Ихарев. Неужто ничего нельзя было приметить?

Швохнев. Ни-ни, никаких следов! Я смотрел в оба глаза.

Ихарев. Это непостижимо!

Утешительный. Феномен, феномен!

Ихарев. И как я подумаю, что при этом еще нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изучение крапа...

Утешительный. Да ведь это очень облегчено теперь. Теперь накапливанье и отметины вышли вовсе из употребления; стараются изучить ключ.

Ихарев. То есть ключ рисунка?

Утешительный. Да, ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, – в каком именно, я не хочу назвать, – один почтенный человек, который больше ничем уж и не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько сотен колод, от кого именно – это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать крап всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок! у такой-то – вот как! За это одно он получает чистыми деньгами пять тысяч в год.

Ихарев. Это, однако ж, важная вещь.

Утешительный. Да оно, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределение работ. Все равно каретник: ведь он не весь же экипаж делает сам; он отдает и кузнецу и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человеческой.

Ихарев. Позвольте вам сделать один вопрос: как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно.

Утешительный. Сохрани бог! да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как: приезжает на ярмонку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успел нанять; сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет – и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате. Видит, остался один вьюк; распаковывает – сто дюжин карт. Карты, натурально, сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы миг расхватили в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город!

Ихарев. Это очень ловко.

Швохнев. Ну, а у того, у помещика?..

Ихарев. Что у помещика?

Утешительный. А это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честно-сти беспримерной, к поползновенью, понимаете, никаких путей: за всем смотрит сам, люди у него воспитанны, камергеры, дом – дворец, деревня, сады – все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там три дня. Как приступить к делу? – просто нет возможности. Наконец придумали. В одно утро пролетает мимо самого

двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше, орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало, подбегают, видят – чемодан. Машут, кричат: «Остановись!» – куды! никто не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. Развязали чемодан – видят: белье, кое-какое платье, двести рублей денег и дюжин сорок карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться, карты пошли на барские столы, – и на другой же день ввечеру все, и хозяин и гости, остались без копейка в кармане, и кончился банк.

Ихарев. Очень остроумно. Ведь вот называют это плутовством и разными подобными именами, а ведь это тонкость ума, развитие.

Утешительный. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицепрятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты – я обыграю отца. Не садись! здесь все равны.

Ихарев. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который склонен к передержкам и к чему хотите, но нищему он отдаст последнюю копейку. А между тем ни за что не откажется соединиться втроем против одного обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь: знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии?

Утешительный. Знаю, но, может быть, другого рода.

Ихарев. Могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я две недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаления в глазах. (*Внимает из шкатулки.*) Вот она! Зато уж не прогневайтесь: она у меня носит имя, как человек.

Утешительный. Как, имя?

Ихарев. Да, имя: Аделаида Ивановна.

Утешительный (*усмехаясь*). Слышь, Швохнев, ведь это совершенно новая идея – назвать колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже, это очень остроумно.

Швохнев. Прекрасно! Аделаида Ивановна! очень хорошо...

Утешительный. Аделаида Ивановна. Немка даже! Слышь, Кругель? это тебе жена.

Кругель. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки.

Утешительный (*рассматривая колоду*). Это, точно, сокровище. Да, никаких совершенно признаков. Неужели, однако ж, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии?

Ихарев. Извольте, я стану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов асикурировать, если ошибусь.

Утешительный. Ну, это какая карта?

Ихарев. Семерка.

Утешительный. Так точно. Эта?

Ихарев. Валет.

Утешительный. Черт возьми, да. Ну, эта?

Ихарев. Тройка.

Утешительный. Непостижимо!

Кругель (*пожимая плечами*). Непостижимо!

Швохнев. Непостижимо!

Утешительный. Позвольте еще раз рассмотреть.

(*Рассматривая колоду.*) Удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем. Но, позвольте заметить, употребить ее в дело трудно. Разве с слишком неопытным игроком: ведь это нужно подменить самому.

Ихарев. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается, когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается беспокойным; а потеряйся только немного чело-

век, с ним можно все сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют – заиграться. Как поиграет два дни и две ночи сряду не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменяю колоду. Поверьте, вся штука в том, чтобы быть хладнокровну тогда, когда другой горячится. А средств отвлечь внимание других есть тысяча. Придержитесь тут же к кому-нибудь из понтеров, скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него – а в это время колода уже и подменена.

Утешительный. Но, однако же, я вижу, что, кроме искусства, вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас еще значительней. Будем без церемонии, оставим лишние этикетки и станем говорить друг другу «ты».

Ихарев. Этак бы давно следовало.

Утешительный. Человек, шампанского! В память дружеского союза!

Ихарев. Именно, это стоит того, чтобы запить.

Швохнев. Да ведь вот мы собрались для подвигов, орудия все у нас в руках, силы есть, одного недостает только...

Ихарев. Именно, именно, крепости недостает только, на которую бы идти, вот беда!

Утешительный. Что ж делать? неприятеля пока нет. (*Смотря пристально на Швохнева.*) Что? у тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель.

Швохнев. Есть, да... (*Останавливается.*)

Утешительный. Знаю я, на кого ты метишь.

Ихарев (*с живостью*). А на кого, на кого? кто это?

Утешительный. Э, вздор, вздор: он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик, Михал Александрович Глов. Ну, да что об этом толковать, когда он не играет вовсе? Мы уж возились около него... Я месяц за ним ухаживал; и в дружбу и в доверенность вошел, а все ничего не сделал.

Ихарев. Ну да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать...

Утешительный. Ну, я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд.

Ихарев. Ну да попробуем, попробуем еще раз.

Швохнев. Ну да приведи его, по крайней мере. Ну, не успеем, поговорим просто. Почему не попробовать?

Утешительный. Да, пожалуй, мне ничего это не значит; я приведу его.

Ихарев. Приведи его теперь же, пожалуйста.

Утешительный. Изволь, изволь. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, кроме Утешительного.

Ихарев. Ведь точно, почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможное...

Швохнев. Я сам того же мнения. Ведь не с богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет, а на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажет «да». Иной ведь с виду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь: просто даром тревогу подымал.

Кругель. Ну, однако ж, этот не таков.

Ихарев. Эх, если бы!.. Поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, восемьдесят тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжение целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная!

Швохнев. Я понимаю это положение. Это все равно что полководец: что он должен чувствовать, когда нет войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я знаю по себе, с этим нечего шутить.

Ихарев. Поверишь ли, приходит так, что если бы кто сделал пять рублей банку – я готов сесть и играть.

Швохнев. Естественная вещь. Этак проигрывались иногда искуснейшие игроки. Стоскуется, работы нет, и наскочит с горя на одного из тех, которых называют голь и перетька, – ну и проиграется ни за что!

Ихарев. А богат этот Глов?

Кругель. О! Деньги есть. Кажется, около тысячи душ крестьян.

Ихарев. Эх, черт возьми, подпойть разве его, шампанского велеть подать?

Швохнев. В рот не берет.

Ихарев. Что ж с ним делать? Как подъехать? Но нет, однако ж, все я думаю... ведь игра – соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющим, он бы не утерпел потом.

Швохнев. Да вот мы попробуем. Мы вот здесь в стороне с Кругелем сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему сказывать большого внимания: старики подозрительны.

Садятся в стороне с картами.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же, Утешительный и Михайло Александрович Глов, человек почтенных лет.

Утешительный. Вот тебе, Ихарев, рекомендую: Михал Александрович Глов!

Ихарев. Я, признаюсь, давно искал этой чести. Живя в одном трактире...

Глов. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде...

Ихарев (*подавая ему стул*). Прошу покорнейше!.. Давно изволите жить в этом городе?

Утешительный, Швохнев и Кругель перешептываются между собой.

Глов. Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город. И телом и душой рад бы отсюда поскорей вырваться.

Ихарев. Что ж, удерживают дела?

Глов. Дела, дела. Такая комиссия мне эти дела!

Ихарев. Вероятно, тяжба?

Глов. Нет, слава богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка, осьмнадцатилетнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками, а главное, заложить имение. Дело бы уже все кончено, да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу.

Ихарев. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение?

Глов. В двухстах тысяч. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивело здесь жить! Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь невеста... все это ждет. Я уж решил не дожидаться и бросить все.

Ихарев. Как же? и денег не хотите дождаться?

Глов. Что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите и мое положение. Ведь вот уж месяц, как не видался с женой и детьми; писем даже не получаю, – бог весть что там делается. Я уж

все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться. (*Обращаясь к Шеховцу и Кругелю.*) А что же вы, господа? Я, кажется, вам помешал. Вы чем-то занимались?

Кругель. Вздор. Это так. От нечего делать вздумали поиграть.

Глов. Кажется, что-то похоже на банчик.

Шеховцев. Какое! для препровождения времени грошовый банчик.

Глов. Эх, господа, послушайте старика. Вы молодые люди. Конечно, тут ничего худого, больше для развлечения, да и в грошовую игру нельзя много проиграть, все это так, но всё... Эх, господа, я сам играл и знаю по опыту. Все на свете начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра как раз кончилась большой.

Шеховцев (*Ихарева*). Ну, пошел уж старикашка плесть свое. (*Глову.*) Ну, вот видите, вы уж тотчас припишете важное следствие всякому вздору; это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей.

Глов. Да что ж, ведь я еще не так пожилой человек. Я сужу по опыту.

Шеховцев. Я не об вас буду говорить. Но вообще у стариков есть это: например, если они на чем-нибудь обожглись, они твердо уверены – другой непременно обожжется на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогой да, зазевавшись, шлепнулись о гололедь, – они уж кричат и выдают правило, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней есть в одном месте гололедь и всякий непременно на ней шлепнется лбом, никак не принимая в уважение того, что другой, может быть, не зазеваётся и сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у них для этого нет соображения. Собака укусила человека на улице – все кусаются собаки, и потому никому нельзя выходить на улицу.

Глов. Так, батюшка. Оно, точно, с одной стороны, есть тот грех. Да ведь зато ж и молодые! Ведь уж слишком много рыси: того и смотри, что сломит шею!

Шеховцев. Вот то-то и есть, что у нас нет середины. Молодым бесится, так что невтерпеж другим, а под старость прикинется ханжой, так что невтерпеж другим.

Глов. Такого-то вы обидного мнения насчет стариков?

Шеховцев. Да нет, что за обидное мнение? это правда, больше ничего.

Ихарева. Позвольте мне заметить. Твое мнение резко...

Утешительный. Насчет карт я совершенно согласен с Михал Александровичем. Я сам играл, играл сильно. Но, благодарю судьбу, бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы; поверьте мне, это еще ничего: проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры, – кто что ни говори, а это сокращает видимо нашу жизнь.

Глов. Так, батюшка, ей-богу! как вы премудро заметили! Позвольте сделать вам нескромный вопрос, сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор...

Утешительный. Какой вопрос?

Глов. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вам год?

Утешительный. Тридцать девять лет.

Глов. Представьте! Что ж такое тридцать девять лет? Еще молодой человек! Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты боже мой, что бы это было: просто золотой век-с, та же астрея. Уж как, ей-богу, благодарен судьбе я за то, что познакомился с вами.

Ихарева. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцевать.

Глов. Так, всё так; но, поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика! Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Все это, что вас окружает, – ведь это

все волнение, ей-богу-с волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Ведь вот я, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидеть своих, ей-богу! Как вообразу: дочь кинется на шею: «Папаш ты мой, милый папаш!» Сын опять приехал из гимназии... полгода не видал... Просто слов недостает, ей-богу так. Да после этого на карты смотреть не захочешь.

Ихарев. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отечественные чувства сами по себе, а карты тоже...

Алексей (*входя, говорит Глову*). Ваш человек спрашивает насчет чемоданов. Прикажете выносить? Лошади уж готовы.

Глов. А вот я сейчас! Извините, господа, на одну минуточку вас оставлю. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Швахнев, Ихарев, Кругель, Утешительный.

Ихарев. Ну, нет никакой надежды!

Утешительный. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека. Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать, кто не расположен играть.

Ихарев. Ну, да все бы таки насесть на него хорошенько. Ну зачем ты сам его поддерживал?

Утешительный. Да иначе, братец, нельзя. С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть.

Ихарев. Ну да ведь что ж вышло из того? ведь вот уедет все равно.

Утешительный. Ну, да постой, еще не все дело кончено.

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и Глов.

Глов. Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, право, что вот перед самым концом. А впрочем, авось приведет бог опять где-нибудь столкнуться.

Швахнев. О, вероятно. Дороги битые, а люди толкуются – как не столкнуться? Захоти только судьба.

Глов. Ей-богу, так, совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же увидимся, – совершенная правда. Прощайте, господа! истинно благодарю! А уж вам, Степан Иванович, так обязан. Право, вы уследили мое уединение.

Утешительный. Помилуйте, не за что. Чем мог служить, служил.

Глов. Ну, уж если вы так добры, так сделайте еще одну милость, можно ли вас просить?

Утешительный. Какую? скажите! Все что угодно готов.

Глов. Успокойте старика отца!

Утешительный. Как?

Глов. Я оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный мальчик, добрая душа. Но все еще ненадежен: двадцать два года – ну что это за лета? почти ребенок... Кончил учебный курс и уж больше ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. Я говорю ему: «Рано, Саша, погоди, осмотрись прежде! Что тебе в гусары? Почему знать, может быть, у тебя штатские наклонности. Ты еще не видел почти света, время не уйдет от тебя!..» Ну, сами знаете, молодая натура. Ему уж там, в гусарах, все это блесит: шитье, богатый мундир... Что ж прикажете? Склонностей ведь удержать никак нельзя... Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович! Он остается теперь один; я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться: чтобы приказные как-нибудь его не обманули... мало ли чего... Так возьмите его

под свое покровительство, надзирайте над его поступками, отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка! (*Берет его за обе руки.*)

Утешительный. Извольте, извольте. Все, что может сделать отец для своего сына, все это я сделаю для него.

Глов. Ах, батюшка!

Обнимаются и целуются.

Ведь как видно, когда у человека-то доброе сердце, ей-богу! Бог вас наградит за это! Прощайте, господа, от души желаю вам счастливо оставаться.

Ихарев. Прощайте, доброй дороги!

Швохнев. Счастливо найти всех домашних!

Глов. Благодарю вас, господа!

Утешительный. А я вас таки провожу к самой коляске и посажу!

Глов. Ах, батюшка, как вы добры!

Оба уходят.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Улетела птица!

Швохнев. Да, а было бы чем поживиться.

Ихарев. Признаюсь, как он сказал: двести тысяч, – у меня вздрогнуло в самом сердце.

Кругель. О такой сумме и подумать даже сладко.

Ихарев. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну что из того, что у него будет двести тысяч? Ведь это все так пойдет, на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек!

Швохнев. И все это дрянь, гниль.

Ихарев. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь! Сколько есть мертвых капиталов, которые, именно как мертвецы, лежат в ломбардах! Право, даже жалость. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько, сколько лежит в опекуновском совете.

Швохнев. Я помирюсь и на половине.

Кругель. Я доволен буду и четвертью.

Швохнев. Ну, не ври, немец: захочешь больше.

Кругель. Как честный человек...

Швохнев. Надуешь.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Утешительный, входит поспешно и с радостным видом.

Утешительный. Ничего, ничего, господа! Уехал, черт его побери, тем лучше! Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение из приказа денег и поручил надсматривать за всем мне. Сын молодец: так и рвется в гусары. Будет жатва! Я пойду и сей же час приведу его к вам! (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ XV

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Ай да Утешительный!

Швохнев. Bravo! дело возымело славный оборот!

Все потирают в радости руки.

Ихарев. Молодец Утешительный! Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как все это ловко! как тонко!

Швохнев. О, у него на это талант необыкновенный!

Кругель. Способности невероятные!

Ихарев. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас... Сметливость какая!

Швохнев. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же, Утешительный и Глов Александр Михалыч, молодой человек.

Утешительный. Господа! Рекомендую: Александр Михалыч **Глов**, отличный товарищ, прошу полюбить, как меня.

Швохнев. Очень рад... (*Пожимает ему руку.*)

Ихарев. Знакомство ваше нам...

Кругель. Позвольте вас прямо в наши объятия.

Глов. Господа! я...

Утешительный. Без церемонии, без церемонии. Равенство первая вещь, господа! Глов, здесь, видишь, все товарищи, и потому к черту все этикетки! Съедем прямо на «ты»!

Швохнев. Именно, на «ты»!

Глов. На «ты»! (*Подает им всем руку.*)

Утешительный. Так, bravo! Человек, шампанского! Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусарское? Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина, – извини, ведь мы на «ты», – ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу! Ну что, брат, скоро свадьба сестры твоей?

Глов. Черт ее побери с ее свадьбой! Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал три месяца в деревне.

Утешительный. Ну, послушай, а хороша сестра твоя?

Глов. А так хороша... Будь она не сестра... ну, уж я бы ей не спустил.

Утешительный. Bravo, bravo, гусар! Сейчас видно гусара! Ну, послушай, а помог бы ты мне, если бы я захотел ее увезти?

Глов. Почему ж? помог бы.

Утешительный. Bravo, гусар! Вот оно, что называется настоящим гусар, черт побери! Человек, шампанского! Вот это мой решительно вкус: таких открытых людей я люблю. Постой, душа, дай обниму тебя!

Швохнев. Дай же и мне обнять его. (*Обнимает его.*)

Ихарев. Пусть же и я обниму его. (*Обнимает.*)

Кругель. Ну, так и я ж обниму его, если так. (*Обнимает.*)

Алексей несет бутылку, придерживая пальцем пробку, которая хлопает и летит в потолок; наливает бокалы.

Утешительный. Господа, за здоровье будущего гусарского юнкера! Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... словом, пусть его будет что хочет!

Все. Пусть его будет что хочет!

Пьют.

Глов. За здоровье всего гусарства! (*Подымая бокал.*)

Все. За здоровье всего гусарства!

Пьют.

Утешительный. Господа, нужно его теперь же посвятить во все гусарские обычаи. Пьет он, как видно, уже сносно, но ведь это вздор. Нужно, чтобы он был картежник во всей силе! Играешь в банк?

Глов. Играл бы, смерть бы хотелось, да денег нет.

Утешительный. Экой вздор: нет денег! Было бы только с чем сесть, а там деньги будут – сейчас выиграешь.

Глов. Да ведь и сесть-то не с чем.

Утешительный. Да мы тебе поверим в долг. Ведь у тебя есть доверенность на получение денег из приказа. Мы подождем, а как тебе выдадут, ты нам тотчас и заплатишь. А до того времени ты можешь нам дать вексель. Да, впрочем, что я говорю? Как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом.

Глов. А как проиграю?

Утешительный. Стыдись, что ж ты за гусар после этого? Естественно, одно из двух: либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель. А не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость.

Глов (*махнув рукой*). Черт побери, если так, играю! Что мне смотреть на отца!

Утешительный. Bravo, юнкер! Человек, карты! (*Наливают ему в стакан.*) Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила... Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч. (*Мечет направо и налево.*) Ну, гусар... Ты, Швохнев, что ставишь? (*Мечет.*) Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. Что там, что у тебя? И четверка взяла! А гусар, гусар-то, каков гусар? Замечаешь, Ихарев, как уж он мастерски возвышает ставки! А туз все еще не выходит. Что ж ты, Швохнев, не наливаешь ему? Бона, вона, вон туз! Вон уж Кругель потащил себе. Немцу всегда везет! Четверка взяла, тройка взяла. Bravo, bravo, гусар! Слышишь, Швохнев, гусар уже около пяти тысяч в выигрыше.

Глов (*перегинаяет карту*). Черт побери! Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, и пятьсот рублей мазу!

Утешительный (*продолжая метать*). У! молодец гусар! Семерка уби... ах, нет, плие, черт побери, плие, опять плие! А, проиграл гусар. Ну что ж, брат, делать? Не у всякого жена Марья, кому бог дал. Кругель, да полно тебе рассчитывать! ну, ставь эту, которую выдержнул. Bravo, выиграл гусар! Что ж вы не поздравляете его?

Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами.

Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого. Помнишь, **Швохнев**, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь, сердечная? Чай, пустилась во все тяжкие. Кругель! твоя убита! (*Ихареву.*) И твоя убита! Швохнев, твоя также убита; гусар также лопнул.

Глов. Черт побери, ва-банк!

Утешительный. Браво, гусар! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит внаружу? До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вона натура-то как того... Убит гусар.

Глов. Ва-банк!

Утешительный. У! браво, гусар! на все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие! Ну поди-ка поищи, где отыщешь этакую черту?.. Это именно подвиг! Лопнул гусар!

Глов. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Ого-го, гусар! На сто тысяч! Каков, а? А глазки-то, глазки? Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-тольевское что-то видно. Вот он героизм! А короля все нет. Вот тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку! Руте, решительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, в колоде нет: право, даже странно. А, вот он, вот он... Лопнул гусар!

Глов (*горячась*). Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Нет, брат, стой! Ты уж просадил двести тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новой игры. Мы так много не можем тебе верить.

Глов. Да где ж у меня? у меня теперь нет.

Утешительный. Дай нам вексель, подпишись.

Глов. Извольте, я готов. (*Берет перо.*)

Утешительный. Да и доверенность на получение денег тоже отдай нам.

Глов. Вот вам и доверенность.

Утешительный. Теперь подпиши вот это да вот это. (*Дает ему подписаться.*)

Глов. Извольте, я готов все сделать. Ну, вот я и подписал. Ну, давайте ж играть!

Утешительный. Нет, брат, постой, покажи-ка прежде деньги!

Глов. Да я вам заплачу. Уж будьте уверены.

Утешительный. Нет, брат, деньги на стол!

Глов. Да что ж это?.. Ведь это просто подлость.

Кругель. Нет, это не подлость.

Ихарев. Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны.

Швохнев. Этак ты, пожалуй, сядешь с тем, чтоб обыграть нас. Дело известное: кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть наверное.

Глов. Ну, что ж? чего вы хотите? назначьте какие угодно проценты, я на всё готов. Я вдвое заплачу вам.

Утешительный. Что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты, дай только нам займы.

Глов (*отчаянно и решительно*). Ну, так скажите последнее слово: не хотите играть?

Швохнев. Принеси деньги, сейчас станем играть.

Глов (*вынимая из кармана пистолет*). Ну, так прощайте же, господа! Больше вы меня не встретите на этом свете. (*Убегает с пистолетом.*)

Утешительный (*в испуге*). Ты! ты! что ты? с ума сошел! Побегать за ним, в самом деле чтоб еще как-нибудь не застрелился. (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ XVII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Еще выйдет история, если этот черт вздумает застрелиться.

Швохнев. Черт его возьми, пусть себе стреляется, да не теперь только: еще деньги не в наших руках. Вот беда!

Кругель. Я всего боюсь. Это так возможно...

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, Утешительный и Глов.

Утешительный (*держит Глова за руку с пистолетом*). Что ты, что ты, брат, рехнулся? Слышите, слышите, господа, уж пистолет вздумал было всунуть в рот, а? Стыдись!

Все (*приступая к нему*). Что ты? что ты? Помилуй, что ты?

Швохнев. А еще и умный человек, из дряни вздумал стреляться.

Ихарев. Этак, пожалуй, вся Россия должна застрелиться: всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, так как же можно выиграть? ты посуды только сам.

Утешительный. Ты дурак просто, позволь тебе сказать. Ты счастья своего не видишь. Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл?

Глов (*с досадой*). Что ж вы, в самом деле, меня уж за дурака считаете? какой тут выигрыш проиграть двести тысяч! Черт возьми!

Утешительный. Эх ты, простофиля! Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица! Еще не будучи юнкером, да уж проиграл двести тысяч! Да тебя гусары на руках будут носить.

Глов (*ободрившись*). Что ж вы думаете? У меня разве не станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло? Черт побери, да здравствует гусарство!

Утешительный. Bravo! Да здравствуют гусары! Теремтете! Шампанского!

Несут бутылки.

Глов (*с стаканом*). Да здравствуют гусары!

Ихарев. Да здравствуют гусары, черт побери!

Швохнев. Теремтете! да здравствуют гусары!

Глов. На всё плюю, когда так!.. (*Ставит на стол стакан.*) Вот беда только: домой как приеду? Отец, отец!.. (*Хватает себя за волосы.*)

Утешительный. Да зачем тебе ехать к отцу? не нужно!

Глов (*вытирает глаза*). Как?

Утешительный. Ты отсюда прямо в полк! Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат Швохнев, дать ему теперь рублей двести, пусть его погуляет юнкер! Там, я уж заметил, у него есть одна... Черномазая-то, а?

Глов. Черт побери, побегу прямо к ней, возьму приступом!

Утешительный. Каков гусар, а? Швохнев, нет у тебя двухсотрублевой?

Ихарев. Да вот уж я ему дам, пусть его погуляет на славу!

Глов (*берет ассигнацию и, помахивая ею на воздухе*). Шампанского!

Все. Шампанского!

Несут бутылки.

Глов. Да здравствуют гусары!

Утешительный. Да здравствуют!.. Знаешь ли, Швохнев, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках Так, как у нас качали в полку! Ну, приступай, бери его!

Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню:

Мы тебя любим сердечно,
Будь ты начальник наш вечно!
Наши зажег ты сердца,
Мы в тебе видим отца!

Глов (*с поднятой рюмкой*). Ура!

Все. Ура!

Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.

Глов. Иду прямо к ней!

Утешительный. А нам нельзя за тобой, а?

Глов. Ни... никому! А кто сколько-нибудь... разделка на саблях!

Утешительный. У! Рубака какой! а? Ревнив и задорен, как черт. Я думаю, господа, что из него просто выйдет Бурцов иора, забияка. Ну, прощай, прощай, гусар, не держим тебя!

Глов. Прощайте.

Швохнев. Да приходи нам после рассказать.

Глов уходит.

ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же, кроме Глова.

Утешительный. Нужно его покамест ласкать, пока еще деньги не в наших руках; а там черт с ним!

Швохнев. Одного боюсь я, чтоб как-нибудь не затянулась в приказе выдача денег.

Утешительный. Да, это будет скверно, а впрочем... ведь на это, сами знаете, есть понукатели. Как ни ворочай, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка.

ЯВЛЕНИЕ XX

Те же и чиновник **Замухрышкин** (высовывает голову в дверь; одет в несколько поношенном фраке).

Замухрышкин. Позвольте узнать: не здесь ли Глов Александр Михалович?

Швохнев. Нет. Он сейчас вышел. А что вам угодно?

Замухрышкин. Да вот по делу их насчет выдачи денег.

Утешительный. А вы кто?

Замухрышкин. Да я чиновник из приказа.

Утешительный. А, милости просим! Прошу покорнейше садиться! В этом деле мы все принимаем живейшее участие. Тем более что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александр Михаловичем. И потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него (*указывая пальцами на всех*) будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее как можно получить из приказа деньги.

Замухрышкин. Да уж как хотите, раньше двух недель никак нельзя.

Утешительный. Нет, это страшно далеко. Ведь вы всё позабываете, что со стороны нашей благодарность...

Замухрышкин. Да уж это само собой. Все это приемлется. Как это позабыть? Мы потому и говорим «две недели», а то бы, пожалуй, вы и три месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше как через полторы недели, а теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили полтора ста тысяч, все роздали; три помещика ожидают, еще с февраля заложили имение.

Утешительный. Ну, это так для других, а для нас по дружбе... Нужно, чтобы мы с вами покороче познакомились... Ну, да что?.. да и люди свои! Ну, как вас зовут? как? Фентефлей Перпентьич, что ли?

Замухрышкин. Псой Стахич-с.

Утешительный. Ну, все одно почти. Ну, так послушайте, Псой Стахич! Будем так, как давние приятели. Ну, что, как вы? как делишки, как служба ваша?

Замухрышкин. Да что служба? Известное дело – служим.

Утешительный. Ну, а доходов по службе этих, знаете, разных... а просто, много ли берете?

Замухрышкин. Конечно, сами посудите, с чего ж и жить?

Утешительный. Ну что, как в приказе у вас, скажите откровенно, все хапуги?

Замухрышкин. Ну что! Вы уж, я вижу, смеетесь! Эх, господа!.. Ведь вот тоже и господа сочинители всё подсмеиваются над теми, которые берут взятки; а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали названья поблагородней: пожертвованье там или так, бог ведает что такое. А на деле выходит – такие же взятки: тот же Савка, да на других санках.

Утешительный. Вот уж Псой Стахич и обиделся, как я вижу, – вот что значит задеть за честь!

Замухрышкин. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое.

Утешительный. Ну, полно, поговоримте по-дружески, Псой Стахич! Ну что ж, как вы? Как у вас? Как поживаете? Как маячитесь на свете? Есть женушка, детки?

Замухрышкин. Слава богу. Бог наградил. Двое сыновей уж в уездное училище ходят. Два других поменьше. Один бегаёт пока в рубашонке, а другой на карачках ползает.

Утешительный. Ну, а ручонками, я чай, уже все этак (*показывает рукою, как будто берет деньги*) умеют?

Замухрышкин. Ведь вот вы, право, какие, господа! ведь вот опять начали!

Утешительный. Ничего, ничего, Псой Стахич! ведь это по дружбе. Ну что ж тут такого? свои! Эй, дай-ка бокал шампанского Псою Стахичу! скорей! Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберемся тоже в гости.

Замухрышкин (*принимая бокал*). А милости просим, господа! Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете.

Утешительный. Небось даровой, от купца?

Замухрышкин. От купца-с, выписной из Кяхты.

Утешительный. Да как же, Псой Стахич? Ведь вы дел с купцами не имеете?

Замухрышкин (*выпив бокал и упираясь руками в колени*). А вот как: купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасов, если изволите знать, закладывает имение, все уж сделано как следует, завтра остается получить деньги. Затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Ну, нам-то, понимаете, какое дело знать, на завод ли или на что другое нужны деньги, и с кем он в половине. Это не наша часть. Да купец по глупости своей и проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Мы и подослали к нему сказать, что вот пришли две тысячи, сейчас выдадут деньги, а не то – будешь ждать! А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы, и посуду, ожидают только задатков. Купец видит, плетью обуха не перешибешь, заплатил две тысячи да по три фунтика чаю каждому из нас. Скажут – взятка, да ведь за дело: не будь глуп; кто его толкал, языка разве не мог придержать?

Утешительный. Послушайте, Псой Стахич, ну, пожалуйста же, насчет этого дельца. Мы уж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайте как следует. Только, ради бога, Псой Стахич, поскорее, а?

Замухрышкин. Да будем стараться. (*Вставая.*) Но откровенно скажу вам: так скоро, как вы хотите, нельзя. Пред богом, в приказе ни копейки денег. А будем стараться.

Утешительный. Ну, как вас там спросить?

Замухрышкин. Так и спросите: Псой Стахич Замухрышкин. Прощайте, господа! (*Идет к дверям.*)

Швухнев. Псой Стахич, а Псой Стахич! (*Оглядывается.*) Постарайтесь!

Утешительный. Псой Стахич, Псой Стахич, выручайте поскорее!

Замухрышкин (*уходя*). Да уж сказал. Будем стараться.

Утешительный. Черт побери, как это долго! (*Бьет себя рукой по лбу.*) Нет, побегу, побегу за ним, авось что-нибудь успею, не пожалею денег. Черт его побери, три тысячи дам ему своих. (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ XXI

Швухнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Конечно, лучше, если бы получить поскорее. Швухиев. Да уж как нам нужно! как нам нужно! Кругель. Эх, если бы он уломал его как-нибудь! **Ихарев.** Да что, разве ваши дела...

ЯВЛЕНИЕ XXII

Те же и Утешительный.

Утешительный (*входит с отчаяньем*). Черт побери, раньше четырех дней никак не может. Я готов просто лоб расшибить себе об стену.

Ихарев. Да что тебе так приспичило? Неужто четырех дней нельзя обождать?

Швухнев. В том-то и штука, брат, что для нас это слишком важно.

Утешительный. Обождать! Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут? Мы тебе не сказывали еще, а уж четыре дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на шестьсот тысяч железа. Во вторник окончательная сделка, и деньги получает чистоганом; да вчера приехал один с пенькой на полмиллиона.

Ихарев. Ну так что ж?

Утешительный. Как что ж? Да ведь старики-то остались дома, а выслали вместо себя сыновей.

Ихарев. Да будто сыновья уж непременно станут играть?

Утешительный. Да где ты живешь, в китайском государстве, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Ведь купец как воспитывает сына? или чтоб он ничего не знал, или чтобы знал то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, он уж так и глядит – ходит под руку с офицерами, кутит. Это, брат, для нас самый выгодный народ. Они, дурачье, не знают, что за всякий рубль, который они выплутуют у нас, они нам платят тысячами. Да это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чин.

Ихарев. И дела совершенно верные?

Утешительный. Как не верные! Уж нас не уведомяли бы. Всё почти в наших руках. Теперь всякая минута дорога.

Ихарев. Эх, черт возьми! что ж мы сидим? Господа, а ведь условие-то действовать вместе!

Утешительный. Да, в этом наша польза. Послушай, что мне пришло на ум. Тебе ведь спешить пока еще незачем. Деньги у тебя есть, восемьдесят тысяч. Дай их нам, а от нас возьми векселя Глова. Ты верных получаешь полтораста тысяч, стало быть ровно вдвое, а нас ты даже одолжишь еще, потому что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за всякую копейку.

Ихарев. Извольте, почему нет; чтобы доказать вам, что узы товарищества... *(Подходит к шкатулке и вынимает кипу ассигнаций.)* Вот вам восемьдесят тысяч!

Утешительный. А вот тебе и векселя! Теперь я побегу сейчас за Гловым; нужно его привести и всё устроить по форме. Кругель, отнеси деньги в мою комнату; вот тебе ключ от моей шкатулки.

Кругель уходит.

Эх, если бы так устроить, чтобы к вечеру можно было ехать. *(Уходит.)*

Ихарев. Натурально, натурально. Тут и минуты незачем терять.

Швехнев. А тебе советую тоже не засиживаться. Как только деньги получишь сейчас приезжай к нам. С двумястами тысяч знаешь что можно сделать? Просто ярмонку можно подорвать... Ах, я и позабыл сказать Кругелю пренужное дело. Погоди, я сейчас возвращусь. *(Поспешно уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XXIII

Ихарев один.

Каков ход приняли обстоятельства! А? Еще поутру было только восемьдесят тысяч, а к вечеру уже двести. А? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишения, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут – владетельный принц! Шутка – двести тысяч! Да где теперь найдешь двести тысяч? Какое имение, какая фабрика даст двести тысяч? Воображаю, хорош бы я был, если бы сидел в деревне да возился с старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегодного дохода. А образование-то разве пустая вещь? Невежество-то, которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. А время-то на что было бы утрачено? На толки с старостой, с мужиком... Да я хочу с образованным человеком поговорить! Теперь вот я обеспечен. Теперь время у меня свободно. Могу заняться тем, что споспешествует к образованию. Захочу поехать в Петербург – поеду и в Петербург. Посмотрю театр, Монетный двор, пройду мимо дворца, по Аглицкой набережной, в Лет-

нем саду. Поеду в Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу, могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство! Плутом можно сделаться в одну минуту, а ведь тут практика, изученье. Ну, положим – плутовство. Да ведь необходимая вещь: что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство. Ну, не знай я, например, всех тонкостей, не постигни всего этого – меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть, да увидели, что дело не с простым человеком имеют, сами прибегнули к моей помощи. Нет, ум великая вещь. В свете нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак проживет, это не штука, но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому – вот настоящая задача и цель!

ЯВЛЕНИЕ XXIV

Ихарев и **Глов**, вбегающий торопливо.

Глов. Где ж они? Я сейчас был в комнате, там пусто.

Ихарев. Да они сию минуту здесь были. На минуту вышли.

Глов. Как, вышли уж? и деньги у тебя взяли?

Ихарев. Да, мы с ними сделались, за тобою остановка.

ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же и **Алексей**.

Алексей (*обращаясь к Г лову*). Изволили спрашивать, где господа?

Глов. Да.

Алексей. Да они уж уехали.

Глов. Как уехали?

Алексе й. Да так-с. Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади.

Глов (*всплеснув руками*). Ну, мы надуты оба!

Ихарев. Что за вздор! Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели.

Глов. Какой черт долг! Получишь ты долг! Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пень?

Ихарев. Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается.

Глов. Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я Глов? Я такой же **Глов**, как ты китайский император.

Ихарев (*беспокойно*). Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой... и...

Глов. Старик-то? Во-первых, он и не отец, да и черт ли и будут от него дети! А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын, да и не Михал Александрович, а Иван Климыч, из их же компании.

Ихарев. Послушай, ты! говори сурьезно, этим не шутят!

Глов. Какие шутки! Я сам участвовал и также обманут. Мне обещали три тысячи за труды.

Ихарев (*подходя к нему, запальчиво*). Эй, не шути, говорю тебе! Думаешь, я уж дурак такой... И доверенность, и приказ... и чиновник сейчас был из приказа, Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?

Глов. Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семенович!

Ихарев (*отчаянно*). Да ты кто? черт, ты говори, кто ты?

Глов. Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что ж мне делать, не умереть же с голода? За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо: видишь, я поступаю благородно.

Ихарев (*в бешенстве схватывает за воротник его*). Мошенник ты!..

Алексей (*в сторону*). Ну, дело-то, видно, пошло на потасовку. Нужно отсюда убираться! (*Уходит.*)

Ихарев (*таща его*). Пойдем! пойдем!

Глов. Куда, куда?

Ихарев. Куда? (*В исступлении.*) Куда? к правосудию! к правосудию!

Глов. Помилуй, не имеешь никакого права.

Ихарев. Как! не имею права? Обворовать, украсть деньги среди дня, мошенническим образом! Не имею права? Действовать плутовскими средствами! Не имею права? А вот ты у меня в тюрьме, в Нерчинске, скажешь, что не имею права! Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! закон! закон призыву! (*Тащит его.*)

Глов. Да ведь закон ты мог бы призвать тогда, если бы сам не действовал противозаконным образом. Но вспомни: ведь ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть навверное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат! В том и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться!

Ихарев (*в отчаянье бьет себя рукой по лбу*). Черт побери, в самом деле!.. (*В изнеможении упадает на стул.*)

Глов между тем убегает.

Но только какой дьявольский обман!

Глов (*выглядывая в дверь*). Утешься! Ведь тебе еще с полугория! У тебя есть Аделаида Ивановна! (*Исчезает.*)

Ихарев (*в ярости*). Черт побери Аделаиду Ивановну! (*Схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет ее в дверь. Дамы и двойки летят на пол.*) Ведь существуют же к стыду и поношению человека эдакие мошенники! Но только я просто готов сойти с ума – как это все было чертовски разыграно! как тонко! И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу! (*Схватывается со стула и в волнении ходит по комнате.*) Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изощрай, изыскивай средства!.. Черт побери, не стоит просто ни благородного рвеня, ни трудов! Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! (*С досадой махнув рукой.*) Черт возьми! Такая уж надувательная земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон подержанными картами!

Утро делового человека

I

Кабинет; несколько шкафов с книгами; на столе разбросаны бумаги. **Иван Петрович**, деловой человек, потягиваясь, выходит в халате и звонит. Из передней слышен голос: «Сейчас!» Иван Петрович звонит во второй раз – опять тот же голос: «Сейчас!» Иван Петрович с нетерпением звонит в третий раз; входит **слуга**.

Иван Петрович. Что ты, оглох?

Лакей. Никак нет.

Иван Петрович. Что ж ты не изволил являться, когда я звоню в третий раз?

Лакей. Как же прикажете: мне нельзя было бросить дела, я сапоги чистил.

Иван Петрович. А Иван что делал?

Лакей. Иван мел комнату, а потом пошел в конюшню.

Иван Петрович. Подай сюда собачку.

Лакей приносит собачку.

Зюзюшка! Зюзюшка! а Зюзюшка! Вот я тебе бумажку привяжу. *(Нацепляет ей на хвост бумажку.)*

Вбегает **другой лакей**: «Александр Иванович!»

Иван Петрович. Проси. *(Бросает поспешно собачку и разворачивает свод законов.)*

II

Иван Петрович и **Александр Иванович**, также деловой человек.

Александр Иванович. Доброго утра, Иван Петрович!

Иван Петрович. Как здоровье ваше, Александр Иванович?

Александр Иванович. Очень благодарен. Не помешал ли я вам?

Иван Петрович. О, как можно! Ведь я всегда занят. Ну что, в котором часу приехали домой?

Александр Иванович. Час шестой был. Я как поворотил из Офицерской, то спросил, подъезжая к будочнику: «Не слышал ли, братец, который час?» – «Да шестой уже, говорит, пробило». Вот я и узнал, что уж был шестой час.

Иван Петрович. Представьте, я сам почти в то же время. Ну что, каков был вистец, хе, хе, хе?

Александр Иванович. Хе, хе, хе! Да, признаюсь, мне даже во сне он мерещился.

Иван Петрович. Хе, хе, хе, хе! Я гляжу, что это значит, что он кладет короля? У меня ведь на руках сам-третьей дама крестов, а у Лукьяна Федосеевича, я давно вижу, что ренонс.

Александр Иванович. Длиннее всего тянулся восьмой робер.

Иван Петрович. Да. *(Помолчав.)* Я уже мигаю Лукьяну Федосеевичу, чтоб он козырял, – нет. А ведь тут только козырни – валет мой пик и берет.

Александр Иванович. Позвольте, Иван Петрович, валет не берет.

Иван Петрович. Берет.

Александр Иванович. Не берет, потому что вам никоим образом нельзя взять в руку.

Иван Петрович. А семерка пик у Лукьяна Федосеевича? позабыли разве?

Александр Иванович. Да разве у него была пиковка? Я что-то не помню.

Иван Петрович. Конечно, у него были две пики: четверка, которую он сбросил на даму, и семерка.

Александр Иванович. Только нет, позвольте, Иван Петрович, у него не могло быть больше одной пиковки.

Иван Петрович. Ах, боже мой, Александр Иванович! кому вы это говорите! Две пиковки! Я как теперь помню: четверка и семерка.

Александр Иванович. Четверка была, это так; но семерки не было. Ведь он бы козырнул; согласитесь сами, ведь он бы козырнул?

Иван Петрович. Ей-богу, Александр Иванович, ей-богу!

Александр Иванович. Нет, Иван Петрович. Это совершенно невозможное дело.

Иван Петрович. Да позвольте, Александр Иванович! Вот лучше всего: поедем завтра к Лукьяну Федосеевичу. Согласны ли вы?

Александр Иванович. Хорошо.

Иван Петрович. Ну, и спросим у него лично: была ли на руках у него семерка пик?

Александр Иванович. Извольте, я не прочь. Впрочем, если посудить, странно, что Лукьян Федосеевич так дурно играет. Ведь нельзя сказать, чтобы он был без ума. Человек тонкий и в обращении...

Иван Петрович. И прибавьте: больших сведений! человек, каких, сказать по секрету, у нас мало на Руси. Были ли у его высокопревосходительства?

Александр Иванович. Был. Я теперь только от него. Сегодня поутру было немножко холодненько. Ведь я, как, думаю, вам известно, имею обыкновение носить лосиновую фуфайку: она гораздо лучше фланелевой, и притом не горячит. По этому-то случаю я велел себе подать шубу. Приезжаю к его высокопревосходительству – его высокопревосходительство еще спит. Однако ж я дождался. Ну, тут пошли рассказы о том и о сем.

Иван Петрович. А про меня не было ничего говорено?

Александр Иванович. Как же, было и про вас. Да еще прелюбопытный вышел разговор.

Иван Петрович (*оживляется*). Что, что такое?

Александр Иванович. Позвольте, позвольте рассказать по порядку. Тут презанимательная вещь. Его высокопревосходительство, между прочим, спросил, где я бываю, что так давно он меня не видит? и пожелал узнать о вчерашней вечеринке и кто был. Я сказал: «Были, ваше высокопревосходительство, Павел Григорьевич Борщов, Илья Владимирович Бубуницын». Его высокопревосходительство после каждого слова говорил: «Гм!» Я сказал: «И еще был один известный вашему высокопревосходительству. ...»

Иван Петрович. Кто ж это такой?

Александр Иванович. Позвольте! что ж бы, вы думали, сказал на это его высокопревосходительство?

Иван Петрович. Не знаю.

Александр Иванович. Он сказал: «Кто ж бы это такой?» – «Иван Петрович Барсуков», – отвечал я. «Гм, – сказал его высокопревосходительство, – это чиновник и притом...» (*Поднимает вверх глаза.*) Довольно хорошо у вас потолки расписаны: на свой или хозяйский счет?

Иван Петрович. Нет, ведь это казенная квартира.

Александр Иванович. Очень, очень недурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны и барабан! очень, очень натурально!

Иван Петрович (*с нетерпением*). Так что же сказал его высокопревосходительство?

Александр Иванович. Да, я и позабыл. Что ж он сказал?

Иван Петрович. Сказал «гм!» его высокопревосходительство; «это чиновник...»

Александр Иванович. Да, да; «это чиновник», ну, «и... служит у меня». После того разговор не был уже так интересен и начался об обыкновенных вещах.

Иван Петрович. А больше ничего не заговаривал обо мне?

Александр Иванович. Нет.

Иван Петрович (*про себя*). Ну, покамест еще не много. Господи боже мой! ну что, если бы сказал он: «Такого-то Барсукова, в уважение тех и тех и прочих заслуг его, представляю...»

III

Те же и Шрейдер (выглядывает в дверь).

Иван Петрович. Войдите, войдите; ничего, пожалуйста сюда. Что, это для доклада?

Шрейдер. Для подписания. Здесь отношение в палату и рапорт управляющему.

Иван Петрович (*между тем читает*). «...Господину управляющему...» Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?.. (*Устремляет на него глубокомысленный взор.*)

Шрейдер. Я говорил об этом Ивану Ивановичу: он мне сказал, что министр не будет смотреть на эту мелочь.

Иван Петрович. Мелочь! Ивану Ивановичу хорошо так говорить. Я сам то же думаю: министр точно не войдет в это. Ну, а вдруг вздумается?

Шрейдер. Можно переписать; только будет поздно. Но так как изволили сами сказать, что министр не войдет...

Иван Петрович. Так! это все правда. Я с вами совершенно согласен: он не займется этими пустяками. Ну, а в случае так ему придется: «Дай-ка посмотрю, велико ли место остается для полей?»

Шрейдер. Если так, я сейчас перепишу.

Иван Петрович. То-то «если так». Ведь я с вами говорю и объясняюсь, потому что вы воспитывались в университете. С другим бы я не стал тратить слов.

Шрейдер. Я осмелился только потому, что господин министр...

Иван Петрович. Позвольте, позвольте! Это совершенная истина: я с вами не спорю ни на волос. Так, министр на это никогда не посмотрит и не вспомнит даже про это. Ну а вдруг... Что тогда?

Шрейдер. Я перепишу. (*Уходит.*)

IV

Иван Петрович (*пожимая плечами, оборачивается к Александру Ивановичу*). Все еще ветер ходит в голове! Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут (*показывая на лоб*) нет. Вы себе не можете представить, почтеннейший Александр Иванович, скольких трудов мне стоило привести все это в порядок; посмотрели бы вы, в каком виде принял я нынешнее место! Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной «къ» перенесет в другую строку; иной в одной строке пишет: «си», а в другой: «ятельству». Словом сказать: это был ужас! столпотворение вавилонское! Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует. А порядок? порядок во всем!

Александр Иванович. Так вам чины, можно сказать, потом и кровью достались.

Иван Петрович (*вздыхнув*). Именно потом и кровью. Что ж будете делать, ведь у меня такой характер. Чем бы я теперь не был, если бы сам доискивался? У меня бы места на груди не нашлось для орденов. Но что прикажете? не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо, попросить чего непосредственно для себя... нет, это не мое дело!

Другие выигрывают беспрестанно... А у меня уж такой характер: до всего могу унизиться, но до подлости никогда! (*Вздыхнувши.*) Мне бы теперь одного только хотелось – если б получить хоть орден на шею. Не потому, чтобы это слишком занимало, но единственно чтобы видели только внимание ко мне начальства. Я вас буду просить, великодушнейший **Александр Иванович**, этак при случае, натурально мимоходом, намекнуть его высокопревосходительству: что у Барсукова-де в канцелярии такой порядок, какой вы редко где встречали, или что-нибудь подобное.

Александр Иванович. С большим удовольствием, если представится случай...

V

Те же и Катерина Александровна, жена Ивана Петровича.

Катерина Александровна (*увидев Александра Ивановича*). А! Александр Иванович! Боже мой, как давно мы не видались! Позабыли меня! Что Наталья Фоминишна?

Александр Иванович. Слава богу! неделю, впрочем, назад было захворала.

Катерина Александровна. Э!

Александр Иванович. В груди под ложечкой сделалась колика и стеснение. Доктор прописал очистительное и припарку из ромашки и нашатыря.

Катерина Александровна. Вы бы попробовали омеопатического средства.

Иван Петрович. Чудно, право, как подумаешь, до чего ни доходит просвещение. Вот ты говоришь, Катерина Александровна, про меопатию. Недавно был я в представлении. Что ж бы вы думали? Мальчишка, росту, как бы вам сказать, вот этакого (*показывает рукою*), лет трех, не больше: посмотрели бы вы, как он пляшет на тончайшем канате! Я вас уверяю сурьезно, что дух занимается от страху.

Александр Иванович. Очень хорошо поет Мелас.

Иван Петрович (*значительно*). Мелас? О да! с большим чувством!

Александр Иванович. Очень хорошо.

Иван Петрович. Заметили ли вы, как она ловко берет вот это?.. (*Вертит рукою перед глазами.*)

Александр Иванович. Именно, это она удивительно хорошо берет. Однако уж скоро два часа.

Иван Петрович. Куда же это вы, Александр Иванович?

Александр Иванович. Пора! Мне нужно еще места в три заехать до обеда.

Иван Петрович. Ну, так до свидания! Когда ж увидимся? Да, я и позабыл: ведь мы завтра у Лукьяна Федосеевича?

Александр Иванович. Непременно. (*Клянется.*)

Катерина Александровна. Прощайте, Александр Иванович!

Александр Иванович (*в лакейской, накидывая шубу*). Не терплю я людей такого рода. Ничего не делает, жиреет только, а прикидывается, что он такой, сякой, и то наделал, и то поправил. Вишь, чего захотел! ордена! И ведь получит, мошенник! получит! Этакие люди всегда успевают. А я? ведь пятью годами старше его по службе и до сих пор не представлен. Какая противная физиономия! И разнежился: ему совсем не хотелось бы, но только для того, чтобы показать внимание начальства. Еще просит, чтобы я замолвил за него! Да, нашел кого просить, голубчик! Я таки тебе удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! (*Подтвердительно ударяет несколько раз кулаком по ладони и уходит.*)

Тяжба

I

Кабинет. **Пролетов**, сенатский обер-секретарь, один сидит в креслах и поминутно икает.

Что это у меня? точно отрыжка! вчерашний обед засел в горле; эти грибки да ботвиньи!.. Ешь, ешь, просто черт знает чего не ешь! (*Икает.*) Вот оно! (*Икает.*) Еще! (*Икает.*) Еще раз! (*Икает.*) Ну, теперь в четвертый! (*Икает.*) Туды к черту, и в четвертый! Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое? Надоела мне эта «Северная пчела»: точь-в-точь баба, засидевшаяся в девках. (*Читает и вскрикивает.*) Крахманову награда! а? Петрушке Крахманову! Вот каким был мальчишкой (*показывает рукой*), я поместил сам его кадетом в корпус, а? (*Продолжает читать и вскрикивает, вытирает глаза.*) Что это? что это? Неужели Бурдюков? Да, он, Павел Петрович Бурдюков, произведен! а? каково? Взяточник, два раза был под судом, отец – вор, обокрал казну, гнуснейший человек, какого только можно представить себе, – каково? И ведь весь свет почитает его за прямодушного человека! Подлец! Говорит: «Дело Бухтелева решено не так, сенат не вникнул», – а? Просто, подлец, узнал, что на мою долю пришлось двадцать тысяч, – так вот зачем не ему! Как собака на сене: ни себе, ни другим. Ну, да я знаю тебя, ступай морочь других, прикидывайся перед другими. Я слышал про тебя кое-что такое. Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь – чувствуешь тоску, гадость – и больше ничего. Эй, Андрей!

II

Лакей (*входя*). Чего изволите– с?

Пролетов. Возьми вон эту газету! И к чему, зачем ты принес эту газету? Дурак этакой!

Андрей уносит газету.

Каков Бурдюков, а? Вот кого, не говоря дальних слов, упрятал бы в Камчатку. С большим наслаждением, признаюсь, нагадил бы ему, хоть сию минуту, да вот до сих пор нет да и нет случая. Что прикажешь делать? Разгневался бог. А я бы тебя погладил, мазнул бы тебя по губам. Да уж и губы зато какие! как у вола, у каналы.

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что?

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что ты вздор несешь!

Лакей. Так точно-с.

Пролетов. Врешь ты, дурак! Бурдюков, ко мне? Павел Петрович Бурдюков!

Лакей. Нет, не Павел Петрович, а другой какой-то.

Пролетов. Какой другой?

Лакей. Да вот извольте сами видеть: он здесь.

Пролетов. Приси.

III

Пролетов и Христофор Петрович Бурдюков.

Бурдюков. Прошу извинить за беспокойство, что наношу вам. Обстоятельства и дела понудили оставить городишку. Приехал просить личной помощи, заступничества.

Пролетов (*в сторону*). Это, точно, другой; а есть, однако же, какое-то сходство. (*Вслух.*) Что прикажете? в чем могу быть вам полезным?

Бурдюков (*с пожатием плеч*). Дело, тяжба!

Пролетов. Тяжба? с кем?

Бурдюков. С родным братом.

Пролетов. Прежде позвольте узнать фамилию, а потом изъясните свое дело. Прошу покорно садиться.

Бурдюков. Фамилия: Бурдюков, Христофор Петров сын, а дело с родным братом, Павлом Петровым Бурдюковым.

Пролетов. Что вы!! Что? нет!

Бурдюков. Да что ж вы на меня уставили глаза? Или думаете, я бы захотел оставлять напрасно Тамбов и скакать на почтовых?

Пролетов. Господи благослови вас за такое доброе дело! Позвольте с вами покороче познакомиться. Умнее этого дела вы не могли никогда бы придумать. Вот рассказывай теперь, что нет великодушия и справедливости! А это что же? Ведь вот родной брат, узы крови, связи, а ведь не пощадил! На брата – процесс! Позвольте вас обнять.

Бурдюков. Извольте! я сам обниму вас за такую готовность.

Обнимаются.

А прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физиогномию, никак нельзя было думать, чтобы вы были путный человек.

Пролетов. Вот тебе раз! Как так?

Бурдюков. Да сурьезно. Позвольте спросить: верно, покойница матушка ваша, когда была брюхата вами, перепугалась чего-нибудь?

Пролетов. Что за чепуху несет он?

Бурдюков. Нет, я вам скажу, вы не будьте в претензии, это очень часто случается. Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья, так сказать, как будто отрезана, и поросла шерстью, совершенно как у барана. А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран и нелегкая подстрекни его заблеять.

Пролетов. Ну, оставим в покое заседателя и барана. Как же я рад!

Бурдюков. А уж я как рад, приобретши такое покровительство! Теперь только, как начинаю всматриваться в вас, вижу, что лицо ваше как будто знакомо: у нас в карабинерном полку был поручик, вот как две капли воды похож на вас! Пьяница страшнейший! то есть я вам скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

Пролетов (*в сторону*). У этого уездного медведя, как видно, нет совсем обычая держать язык за зубами. Вся дрянь, какая ни есть на душе, – у него на языке. (*Вслух.*) Времени у меня немного; пожалуйста, приступим же к делу.

Бурдюков. Позвольте, сидя не расскажешь. Это дело казусное! Знали ли в Устюжском уезде помещицу Евдокию Малафеевну Жеребцову? не знали? хорошо. Она доводится родной теткой мне и бестии моему брату. У ней ближайшими наследниками я да брат – изволите видеть: вот оно куды пошло! Кроме того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева; ну, о той ни слова, та и без того получила следуемую ей часть. Позвольте: вот этот мошенник, брат, – он на это хоть черту в дядьки годится, – вот и подъехал он к ней: «Вы-де, тетушка, уже прожили, слава богу, семьдесят лет; где уже вам в таких преклонных годах мешаться самим в хозяйство: пусть лучше я буду приберегать и кормить». Вона! замечайте, замечайте! Переехал к ней в дом, живет и распоряжается как настоящий хозяин. Да вы слышите ли это?

Пролетов. Слышу.

Бурдюков. То-то! Да. Вот занемогают тетушка, отчего – бог знает: может быть, он сам и подсунул ей чего-нибудь. Мне дают уже знать стороною. Замечайте! Приезжаю: в сенях встречает меня эта бестия, то есть брат, в слезах, так весь и заливаётся, и растаял, и говорит: «Ну, говорит, братец, навеки мы несчастны с тобою: благодетельница наша...» – «Что, отдала богу душу?» – «Нет, при смерти». Я вхожу – и точно, тетушка лежит на карачках и только глазами хлопает. Ну что ж? плакать? Не поможет. Ведь не поможет?

Пролетов. Не поможет.

Бурдюков. Ну что ж? нечего делать! так, видно, богу угодно! Я приступил поближе. «Ну, говорю, тетушка, мы все смертны, один бог, как говорят, не сегодня, так завтра властен в нашей жизни: так не угодно ли вам заблаговременно сделать какое-нибудь распоряжение?» Что ж тетушка? Я вижу, не может уже языком поворотить, и только сказала: «э... э... э...» А эта шельма, что стоял возле кровати ее, брат, говорит: «Тетушка сим изъясняет, что она уже распорядилась». Слышите, слышите?

Пролетов. Как же! да ведь она разве сказала это?

Бурдюков. Кой черт сказала! Она сказала только: «э... э... э...» Я все подступаю: «Но позвольте же узнать, тетушка, какое же это распоряжение?» Что ж тетушка? Тетушка опять отвечает: «э, э, э». А тот подлец опять: «Тетушка говорит, что все распоряжение по этой части находится в духовном завещании». Слышите? слышите? Что ж мне было делать? я замолчал и не сказал ни слова.

Пролетов. Однако ж позвольте: как же вы не уличили тут же их во лжи?

Бурдюков. Что ж? (*Размахивает руками.*) Стали божиться, что она, точно, все это говорила. Ну ведь... и поверил.

Пролетов. А духовное завещание распечатали?

Бурдюков. Распечатали.

Пролетов. Что ж?

Бурдюков. А вот что. Как только все это, как следует, христианским долгом было отправлено, я и говорю, что не пора ли прочесть волю умершей. Брат ничего и говорить не может: страданья, отчаянья такие, что люли только! «Возьмите, говорит, читайте сами». Собрались свидетели и прочитали. Как же бы вы думали было написано завещание? А вот как: «Племяннику моему, Павлу Петрову сыну Бурдюкову, – слушайте! – в возмездие его сыновних попечений и неотлучного себя при мне обретения до смерти, – замечайте! замечайте! – оставляю во владение родовое и благоприобретенное имение мое в Устюжском уезде... – вона! вона! вона куды пошло! – пятьсот ревизских душ, угодья и прочее». А? слышите ли вы это? «Племяннице моей, Марии Петровой дочери Повалищевой, урожденной Бурдюковой, оставляю следуемую ей деревню изо ста душ. Племяннику, – вона! замечайте! вот тут настоящий типун! – Хрисанфию сыну Петрову Бурдюкову, – слушайте, слушайте! – на память обо мне... – ого! го! – завещаю: три штаметовые юбки и всю рухлядь, находящуюся в амбаре, как-то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, чепцы», и там черт знает еще какое тряпье! А? как вам кажется? Я спрашиваю: на кой черт мне штаметовые юбки?

Пролетов. Ах он мошенник этакой! Прошу покорно!

Бурдюков. Мошенничество – это так, я с вами согласен; но спрашиваю я вас: на что мне штаметовые юбки? Что я с ними буду делать? разве себе на голову надену?

Пролетов. И свидетели подписались при этом?

Бурдюков. Как же, набрал какой-то сволочи.

Пролетов. А покойница собственноручно подписалась?

Бурдюков. Вот то-то и есть, что подписалась, да черт знает как!

Пролетов. Как?

Бурдюков. А вот как: покойницу звали Евдокия, а она нацарапала такую дрянь, что разобрать нельзя.

Пролетов. Как так?

Бурдюков. Черт знает что такое: ей нужно было написать: «Евдокия», – а она написала: «Обмокни».

Пролетов. Что вы!

Бурдюков. О, я вам скажу, что он горазд на все. «А племяннику моему Хрисанфию Петрову три штаметовые юбки»!

Пролетов (*в сторону*). Молодец, однако ж, Павел Петрович Бурдюков; я бы никак не мог думать, чтобы он ухитрился так!

Бурдюков (*размахивая руками*). «Обмокни»! что ж это значит? Ведь это не имя «Обмокни»?

Пролетов. Как же вы намерены поступить теперь?

Бурдюков. Я подал уже прошение об уничтожении завещания, потому что подпись ложная. Пусть они не врут: покойницу звали Евдокией, а не «Обмокни».

Пролетов. И хорошо! Позвольте теперь мне за все это взяться. Я сейчас напишу записку к одному знакомому секретарю, а вы между тем доставьте мне копию с завещания вашего.

Бурдюков. Несказанно обязан вам! (*Берется за шапку.*) А в которые двери нужно выходить – в те или в эти?

Пролетов. Пожалуйте в эти.

Бурдюков. То-то. Я потому спросил, что мне нужно еще будет по своей надобности. До свидания, почтеннейший. Как вас? Я все позабываю!

Пролетов. Александр Иванович.

Бурдюков. Александр Иванович! >Александр Иванович есть Прольдюковский, вы не знакомы с ним?

Пролетов. Нет.

Бурдюков. Он еще живет в пяти верстах от моей деревни. Прощайте!

Пролетов. Прощайте, почтеннейший, прощайте!

IV

Пролетов, потом слуга.

Вот неожиданный клад! вот подарок! Просто бог на шапку послал. Странно сказать, а по душе чувствуешь такое какое-то эдакое неизъяснимое удовольствие, как будто или жена в первый раз сына родила, или министр поцеловал тебя при всех чиновниках в полном присутствии. Ей-богу! эдакое магнетическое какое-то! Эй, Андрей! ступай сейчас к моему секретарю и проси его сюда. Слышишь? Да постой: вот тебе на водку, напейся пьян как стелька, – для сегодняшнего дня я тебе позволяю; а вот еще сыну на пряники. Да скажи секретарю, чтобы – сейчас, самонужнейшее дело. А, наконец-таки, насилу! и на нашу улицу пришло веселье! Постой же, теперь я сяду играть, да и посмотрим, как ты будешь подплясывать. А уж коли из сенатских музыкантов наберу оркестр, так ты у меня так заплясешь, что во всю жизнь не отдохнут у тебя бока.

Лакейская

I

Театр представляет переднюю. Направо дверь на лестницу, налево – в зал. На заднем занавесе дверь, несколько сбоку – в кабинет. До самых дверей во всю стену длинная скамья. **Петр, Иван и Григорий** сидят на ней и спят, уткнувши головы один другому в плечо. В дверях с лестницы звенит громкий звонок. Лакеи пробуждаются.

Григорий. Ступай отвори дверь! звонят!

Петр. Да ты что сидишь? На ногах у тебя пузыри, что ли? встать не можешь?

Иван (*махнув рукой*). Ну, уж я пойду, так и быть, отворю! (*Отворяя дверь, вскрикивает.*)
Это Андрюшка!

Чужой слуга входит в картузе, в шинели и с узелком в руке.

Григорий. А, московская ворона! Откуда тебя принесло?

Чужой слуга. Ах ты, чухонский сын! Побегал бы ты с мое. Вон (*подымая узелок*) к цветочнице велела снести, что на Петербургской. Небось четвертака на извозчика не даст. Да и к вашему тож. Что, спит?

Григорий. Кто? медведь? Нет, еще не рычал из берлоги.

Петр. Правда ли, что барыня ваша дает вам чулки штопать?

Все смеются.

Григорий. Ну, уж ты, брат, будь теперь штопальница. Уж мы так и звать тебя будем.

Чужой лакей. Врешь, а вот же и не штопал никогда.

Петр. Да ведь у вас известно: дворовый человек до обеда повар, а после обеда уж он кучер, или лакей, или башмаки шьет.

Чужой лакей. Ну так что ж, ремесло другому не помешает. Не сидеть же без дела. Конечно, я и лакей, да и женский портной вместе. И на барыню шью, и на других тоже – копейку добываю. А вы что, ведь вот ничего ж не делаете.

Григорий. Нет, брат, у хорошего барина лакея не займут работой, на то есть мастеровой. Вон у графа Булкина – тридцать, брат, человек слуг одних; и уж там, брат, нельзя так: «Эй, Петрушка, сходи-ка туды». – «Нет, мол, скажет, это не мое дело; извольте-с приказать Ивану». Вон оно как! Вот оно что значит, если барин хочет жить как барин. А вон ваша пигалица из Москвы приехала – коляска-то орех раскушенный, веревками хвосты лошадям позавязаны.

Смеются.

Чужой лакей. Ну ты, смехун, смехун! Что ж из того, что лежишь весь день? Ведь за то ж ни копейки за душой у тебя нет.

Григорий. Да на что ж мне твоя копейка? а барин-то зачем? Ведь жалованье-то уж он мне выдаст, хоть я работай или не работай. А копить мне на старость зачем? Что ж за барин, коли уж пенсионера слуге не выдаст за службу?

Чужой лакей. Что? говорят, ребята бал затеяли?

Петр. Да. А ты будешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал! только, чай, слава, что бал.

Григорий. Нет, брат, бал будет на всю руку. По целковому жертвуют и больше. Княжой повар дал пять рублей и сам берется стол готовить. Угощение будет не то что орехи: уж полпуда конфект купили, мороженого тоже...

Слышен тоненький звонок из барского кабинета.

Чужой лакей. Ступай, звонит барин.

Григорий. Подождет... Лиминацию тоже зажгут. Музыка торговали, только не сошлись – баса нет, а то уж было...

Слышен звонок из кабинета громче прежнего.

Чужой лакей. Ступай, ступай! звонит.

Григорий. Подождет. Ну, ты сколько даешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал, ведь это всё так.

Григорий. Ну, развязывай кошну, ты, штопальница! Вон смотри, Петрушка на него, какой он...

Тыкает на него пальцем; в это время отворяется дверь кабинета, и барин, в халате, протянувши руку, схватывает Григория за ухо. Все поднимаются с своих мест.

II

Барин. Что вы, бездельники? Три человека – и хоть бы один поднялся с своего места! Я звоню что есть мочи, чуть тесьмы не оборвал.

Григорий. Да ничего не было слышно, сударь.

Барин. Врешь!

Григорий. Ей-богу! Что ж мне лгать? Вот Петрушка тоже сидел. Уж это такой колокольчик, судырь, никуда не годится: никогда ничего не слышать. Нужно будет слесаря позвать.

Барин. Ну, так позвать слесаря.

Григорий. Да я уж сказывал дворецкому. Да ведь что ж? Ему говоришь, а ведь он еще и выбранит за это.

Барин (*увидя чужого лакея*). Это что за человек?

Григорий. Это-с человек от Анны Петровны, зачем-то пришел к вам.

Барин. Что скажешь, брат?

Чужой лакей. Барыня приказала кланяться и доложить, что будут сегодня к вам.

Барин. Зачем, не знаешь?

Чужой лакей. Не могу знать. Они только сказали: «Скажи Федору Федоровичу, что я приказала кланяться и буду к ним».

Барин. Да когда, в котором часу?

Чужой лакей. Не могу знать, в котором часу. Они сказали только, что доложи-де, говорит, Федору Федоровичу, что я, говорит, к ним сама-де буду у них-с...

Барин. Хорошо. Петрушка, дай мне поскорей одеться: я иду со двора. А вы – не принимать никого! Слышишь, всем говорить, что меня нет дома! (*Уходит; за ним Петрушка.*)

III

Чужой лакей (*Григорию*). Ну видишь, ведь вот и досталось.

Григорий (*махнув рукой*). А! уж служба такая! как ни старайся – всё выберяют.

В дверях, что у лестницы, раздается звонок.

Вот опять какой-то черт лезет. (*Ивану*.) Ступай отвори, что ж ты зеваешь?

Иван отворяет дверь; входит **господин в шубе**.

IV

Господин в шубе. Федор Федорович дома?

Григорий. Никак нет.

Господин. Досадно. Не знаешь, куда уехал?

Григорий. Неизвестно. Должно быть, в департамент. А как об вас доложить?

Господин. Скажи, что был Невелешагин. Очень, мол, жалел, что не застал дома. Слышишь? не позабудешь? Невелешагин.

Григорий. Лентягин-с.

Господин (*вразумительнее*). Невелешагин.

Григорий. Да вы немец?

Господин. Какой немец! просто русский: Не-ве-ле-ща-гин.

Григорий. Слышь, Иван, не позабудь: Ердашагин!

Господин уходит.

Чужой лакей. Прощайте, братцы, пора уж и мне.

Григорий. Да что ж – на бал будешь, что ли?

Чужой лакей. Ну, да уж там посмотрю после. Прощай, Иван!

Иван. Прощай! (*Идет отворять дверь*.)

VI

Горничная девушка, бежит бегом через лакейскую.

Григорий. Куды, куды! удойдите взглядом! (*Хватает ее за полу платья*.)

Девушка. Нельзя, нельзя, Григорий Павлович! не держите меня, совсем-с некогда. (*Вырывается и убегает в дверь на лестницу*.)

Григорий (*смотря вслед ей*). Вот она, как поплелась! (*Смеется*.) Хе, хе, хе!

Иван (*смеется*). Хи, хи, хи!

Выходит **барин**. Рожи у Григория и Ивана вдруг становятся насупившись и сурьезны. Григорий снимает с вешалки шубу и накидывает барину на плечи. Барин уходит.

Григорий (*стоит среди комнаты, чистя пальцем в носу*). Ведь вот свободное время. Барин ушел, чего бы, кажется, лучше, – нет, сейчас привалит этот черт, брюхач– дворецкий.

За сценой слышен крик **дворецкого**: «Ведь вот, точно, божеское наказание: десять человек в доме и хоть бы один что-нибудь прибрал».

Вон уж, пошел кричать толстобрюхий.

VII

Пузатый дворецкий (*входит с сильными движениями и размахами рук*). Побоялись бы хоть совести своей,) коли бога не боитесь. Ведь ковры до сих пор не выколочены. Вы бы, Григорий Павлович, пример другим должны бы дать, а вы спите ровно от утра до вечера; ведь глаза-то у вас совсем заплыли от сна, ей-богу! Ведь вы совсем подлец после этого, Григорий Павлович.

Григорий. Да что ж? нешто я не человек, что уж и заснуть нельзя?

Дворецкий. Да кто ж против этого и слово говорит? Почему ж не заснуть? Но ведь не весь же день спать. Ну, вот хоть бы и ты, Петр Иванович! ведь ты, не говоря дурного слова, на свинью похож, ей-богу! Ведь что тебе работы? всего два, три каких-нибудь подсвечника вычистить. Ну, зачем ты тут баишься?

Петр медленно уходит.

А тебе, Ванька, просто толчка в затылок следует.

Григорий (*уходя*). Эх ты, житье, житье! вставши да за вытье!

Дворецкий (*оставшись один*). В том-то и есть поведенье, что всякий человек должен знать долг. Коли слуга, так слуга, дворянин, так дворянин, архиерей, так архиерей. А то бы, пожалуй, всякий зачал... я бы сейчас сказал: «Нет, я не дворецкий, а губернатор или там какой-нибудь от инфантерии». Да ведь за то мне всякий бы сказал: «Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал», – вот что! «Твоя обязанность смотреть за домом, за поведением слуг», – вот что! «Тебе не то, что бон жур, коман ву франсе, а веди порядок, распоряженье», – вот что! Да.

VIII

Входит **Аннушка**, горничная девушка из другого дома.

Дворецкий. А! Анна Гавриловна! Насчет моего почтения с большим удовольствием вас вижу.

Аннушка. Не беспокойтесь, Лаврентий Павлович! Я нарочно зашла к вам на минуту: я встретила карету вашего барина и узнала, что его нет дома.

Дворецкий. И очень хорошо сделали, я и жена будем очень рады. Пожалуйста, садитесь.

Аннушка (*севши*). Скажите, ведь вы знаете что-нибудь о бале, который на днях затевается?

Дворецкий. Как же. Оно примерно, вот изволите видеть, складчина. Один человек, другой, примерно также сказать, третий. Конечно, это, впрочем, составит большую сумму. Я пожертвовал вместе с женою пять рублей. Ну, натурально, бал, или, что обыкновенно говорится, вечеринка. Конечно, будет угощение, примерно сказать, прохладительное. Для молодых людей танцы и тому прочие подобные удовольствия.

Аннушка. Непременно, непременно буду! Я только зашла затем, чтобы узнать, будете ли вы вместе с Агафьей Ивановной.

Дворецкий. Уж Агафья Ивановна только и говорит все что о вас.

Аннушка. Я боюсь только насчет общества.

Дворецкий. Нет, Анна Гавриловна, у нас будет общество хорошее. Не могу сказать наверно, но слышал, что будет камердинер графа Толстого, буфетчик и кучера князя Брюховецкого, горничная какой-то княгини... я думаю, тоже чиновники некоторые будут.

Аннушка. Одно только мне очень не нравится, что будут кучера. От них всегда запах простого табаку или водки; притом же все они такие необразованные, невежи.

Дворецкий. Позвольте вам доложить, Анна Гавриловна, что кучера кучерам рознь. Оно конечно, так как кучера, по обыкновению больше своему, находятся неотлучно при лошадях, иногда подчищают, с позволения сказать, кал; конечно, человек простой, выпьет стакан водки или, по недостаточности больше, выкурит обыкновенного бакуну, какой большею частию простой народ употребляет; да, так оно натурально, что от него иногда, примерно сказать, воняет навозом или водкой; конечно, все это так; да, однако ж, согласитесь сами, Анна Гавриловна, что есть и такие кучера, которые хотя и кучера, однако ж, по обыкновению своему, больше, примерно сказать, конюхи, нежели кучера. Их должность, или, так выразиться, дирекция, состоит в том, чтобы отпустить овес или укорить в чем, если провинился форейтор или кучер.

Аннушка. Как вы хорошо говорите, Лаврентий Павлович! я всегда вас заслушиваюсь.

Дворецкий (*с довольною улыбкою*). Не стоит благодарности, сударыня. Оно конечно, не всякий человек имеет, примерно сказать, речь, то есть дар слова. Натурально, бывает иногда... что, как обыкновенно говорят, косноязычие... Да. Или иные прочие подобные случаи, что, впрочем, уже происходит от природы... Да не угодно ли вам пожаловать в мою комнату?

Аннушка идет. Лаврентий за нею.

Н.В. Гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями

Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя

Предисловие

Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и, приготовляясь к отдаленному путешествию к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключением всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на умение свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочесть ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны – в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем ни случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманно и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было

необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощения у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежение или неуважение к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прощения у своего брата, так я прошу у него прощения, и как никто в такую минуту не посмеет, не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощения у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, – как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

1846, июль

I Завещание

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я завещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других, – пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, – то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия

уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть. «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий – во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем³.

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI.⁴

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе присутвавшим ко мне с предложеньями, и только в таком случае предполагал себе это позволить,

³ «Прощальная повесть» не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни. (Примеч. Н.В. Гоголя.)

⁴ Статья содержит распоряженья по делам семейственным. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, – труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнил еще ни один из гравировщиков. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстампов его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидеть и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтении сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображения Господня», который, по признанию даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.

1845

II

Женщина в свете (Письмо к ...ой)

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой – какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, – на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены – хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду, или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом – всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общепольною трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоит вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о поморщи, – и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познания людей, ни познания жизни, словом –

ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых – неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих – власть, которой сами в себе не подозреваете, – власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которых ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчывают других избраниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное.

В прибавленье ко всему вы имеете уже Самим Богом водворенное вам в душу стремленье, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, наместо того чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастья, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вас назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровожденье чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью, вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытывавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наиумнейшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекар-

ства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

1846

III

Значение болезней

(Из письма к гр. А. П. Т.....му)

...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь – ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня надеть уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительно лучше прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

1846

IV О том, что такое слово

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, —

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом – мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явление поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего – здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит суждение о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П.....н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестию его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», – и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим

местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, державшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом – в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П.....н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом – выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что же? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещения и образования русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще – слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, – говорит Иисус Сирах, – растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

1844

V

Чтения русских поэтов перед публикою (Письмо к Л**)

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаваться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему сочувствовать. Передать, поделиться ощущением у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильнее по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигли только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоятся, и никто не может представить себе определенно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни попало. Прочесть как следует произведение лирическое – вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его – и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение, это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтение наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль – обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

1843

VI

О помощи бедным (Из письма к А. О. С.....ой)

...Обращаюсь к нападениям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, – вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначения его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастье внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом – всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет стоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержанье. А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманью предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучшего, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

1844

VII

Об Одиссее, переводимой Жуковским (Письмо к Н. М. Я...ву)

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; «Илиада» пред нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами, знаниями, верованиями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемыми колодезем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, – уху его послушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирующий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но слышалось бы в нем *слово живо*, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, – охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких неперевавшихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появление произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь

с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние, как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого*.

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех*. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гэфестов, Гелиосов, Киприда и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожие оставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, – то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, – для того и жизнь дана человеку, – что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни вааянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом – прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярко все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего ж так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную кра-

соту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом – все, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать не уместной длиной поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер – миф, а все творения его – народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого*. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизованными писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти осязательной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда забываем, а именно: по тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более, чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинно дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих

лет. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устами какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как готовится он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировую критерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — все перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственной волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавую патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческой ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством

своей религии, позволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновению природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, – одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, – со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

VIII

Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве (Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша безжизненна. – Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России и изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, – и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда – жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желанья мира, все бы подвинулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»

IX О том же (Из письма к гр. А.П. Т....му)

Замечание, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращения в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, – это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель. Нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысящу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они – как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, Который долгое время провел в пустыне и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

X

О лиризме наших поэтов (Письмо к В. А. Ж.....му)

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, то есть о статье под названием «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказания о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслию, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно – что-то близкое к библейскому, – то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый воздет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет.
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес,
И миру новые светила —
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником лиризма – Богом,

одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них – Россия. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается величию, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России – слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величию России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий:

...Повелительный Стефан
В один могущественный стан
Уже собирал толпы густые —
Да ниспровергнет псковитян,
Да уничтожится Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась. Кровь за кровь —
И он не праздновал победы!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод*. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? – Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть – *любви к царю*. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни – об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен

мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображение оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очерчивает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиленья тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россом ту царицу,
Какой другой нам не найти
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет:
Екатерины муза дремлет.
...Петь
Уж не могу. Другим певцам греметь
Мои оставлю ветхи струны.
Да черплют вновь из них перуны
Тех чистых пламенных огней,
Как пел я трех царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? – вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени – это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремленье воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но,

если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не имеет слишком разгуляться за счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин! Это внутреннее существо – силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрание его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***». Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принесся на лице своем следы иных впечатлений. Сближенье этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрыжали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей,
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрыжали.
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Сходить под тень долины малой,
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремиться вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшную ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, – тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных

кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам – и забвенью долга нашего, и самый ропот наш, – все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе ровно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостью своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа:
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна любовь, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не может; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье будет не жестоко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое – быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, подставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и

государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда – государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога – избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князя, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех им мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предьявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспаривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, – как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такую суровую трезвостью их звуки: для этого потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них вошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того

лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему – Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем напечатления Божьего. В ком хотя одна крупинка этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выражение признательности со стороны людской. Собственный лучший его подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопратно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, – Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себе черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкреплением. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что прелестью живой стихов я был полезен
 И милость к падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя – кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры, – черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами

Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор, —
Клянусь, тот будет Небу другом,
Какой бы ни был приговор
Земли слепой.

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве», в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пиროвания: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданными мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пенит с ним одну.
Оттого-то пир веселый,
Речь гостей хмельна, шумна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А еще и писатель!»

1846

XI

Споры

(Из письма к Л***)

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажется только карикатуры на то, чем хотят быть, – все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим – одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступить немного подальше. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступить, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего, если бы только они оставались в гостинных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух) таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противоположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело лучше всякого литератора. Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-

нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадою; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: «Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не деля, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возражение, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня.

1844

XII

Христианин идет вперед (Письмо к Щ.....ву)

Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигли настоящей зрелости и развития и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалившись за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепили в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула, пред ним даль и подвиги – угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желание быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двинется вперед, пока не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретает не иначе, как победой над страстями. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей – мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до глубинного незлобия и убирая все

внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.

1846

ХІІІ

Карамзин

(Из письма к Н. М. Я...ву)

Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным. Это лучшее из сочинений Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Все здесь, напротив того, стройно, обдуманно и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очерчивается самым собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

1846

XIV

О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности (Письмо к гр. А. К. Т.....му)

Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасеньи вашем и, не найдя еще той именно дороги, которую вам предназначено достигнуть его, почитаете всё, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасенью. Монах не строже вас. Так и ваши нападения на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притом бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перестроился сызнова поколениями свежих народов Европы, которых образование началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов Церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясунями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги – ногами, а голова – головой. В некоторых местах Европы это поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется одной поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуважение к святыне. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованьем правого, и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено вниманье на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижимых, заста-

вит нечувствительно характеры более устояться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, ставит легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя непрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куда поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть двадцать раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так и на всю пьесу; а пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, – вещью, доселе неслышанной! Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем налюбимейшая музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, – выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией – первый комический актер, когда одни они будут *исключительные* хоровожди такого дела. Говорю *исключительные*, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, Бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во всё, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношения подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчинен-

ным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он поставлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам, – словом, вместо того чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе самому того же самого уваженья, которым они были обязаны только одному начальнику, и за неисполнение того мстившего им оговорами, внушеньями о них дурного мненья, словом – всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по пословице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшимся сбоку чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновенья с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвиженьях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил

у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломашь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера – для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта делается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций – как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него, – и он это сделает, он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполнение всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, – потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том никто не узнает, потому что и сам он – незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Каратыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшею жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загроздившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «Рассердись на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу.

Односторонние люди и притом фанатики – язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомненья в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый неспособнейший из неспособнейших. Берегитесь и в самих суждениях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское. Их удел – впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не прониклась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отда-

лились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвинение, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, – разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному Богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнание Бога в том виде, в каком повелел признавать Его Сам Божий Сын, сходявший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт, – как и во всяком даже простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю Церкви, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестью света, его поражал даже один вид служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
 Мгновенно звон я прерывал,
 Когда твой голос величавый
 Меня внезапно поражал.
 Я лил потоки слез нежданных,
 И ранам совести моей
 Твоих речей благоуханных
 Отраден чистый был елей.
 И ныне с высоты духовной
 Мне руку простираешь ты
 И силой кроткой и любовной
 Смиряешь буйные мечты.
 Твоим огнем душа палима
 Отвергла прах земных сует,
 И внемлет арфе серафима
 В священном ужасе поэт.

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильней укрепит самое дело, показавши, как даже и

тот человек, который заключал в себе все разнородные верования и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица – выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства! Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе – что другое, кроме безверья наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом – везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр – две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг оттого, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг оттого, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело – слезы оттого, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, – слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и немусыканты; и опять иное дело – слезы оттого, когда живым представленьем высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таком его исполнении. Друг мой! мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все направлять к добру, – даже и то, что «уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу Ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

1845

XV

Предметы для лирического поэта в нынешнее время (Два письма к Н. М. Я....у)

1

Твое стихотворенье «Землетрясение» меня восхитило. Жуковский также был от него в восторге. Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений. Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему – какая умная и богатая мысль! А примененье к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясения, когда все помутилось от страха за будущее. Друг! перед тобой разверзается живоносный источник. В словах твоих поэту:

И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины! —

заключаются слова тебе самому. Тайна твоей музыки тебе открывается. Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутаго глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в минувшем событьи подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божиим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живеи через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что вострепетает настоящее. У тебя есть на то орудья и средства: в стихе твоём есть сила, и упрекающая и подъёмлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл. А если хочешь быть еще понятней всем, то, набравшись духа библейского, опустишь с ним, как со светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся; старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя! Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга: «Царские выходы». Казалось, что бы могло быть ее скучней, но и тут уже одни слова и названия царских убранств, дорогих тканей и камней – сущие сокровища для поэта; всякое слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой – целиком унесешь читателя в минувшее. Мне, после прочтения трех страниц из этой книги, так и виделся везде царь старинных, прежних времен, благоговейно идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве.

1844

2

Пишу к тебе под влиянием того же стихотворения твоего: «Землетрясение». Ради Бога, не оставляй начатого дела! Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины, и при свете их приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию восторгом, никуда не обращенным. Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокруг: всё теперь – предметы для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; куды ни поворишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им дело в настоящем виде, то есть, что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что уныние проклято Богом. Истинно русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял поэта в своем «Землетрясении».

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеда, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьянение; нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердие, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ»!

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки.

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, как все берут вокруг их. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать несправедливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех на глазах и каждому из них захотелось бы самому быть бедным.

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе; но покажи так, чтобы невольно затрепетала в каждом русская природа и чтобы всё, даже в грубом и низшем сословии, вскрикнуло: «Эх, молодец!» – почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело.

Много, много предметов для лирического поэта – в книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинное русское чувство гложет, и некому его вызвать! Дремлет наша удаль, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, – дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведения. Стряхни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед Богом, и проси у Него Гнева и Любви! Гнева – противу того, что губит человека, любви – к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, если только,

подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданьем вымолишь себе у Бога на то силу и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа.

1844

XVI

Советы

(Письмо к Щ...ву)

Уча других, также учишься. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогда у меня не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе неизвестных, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог, нас умудряющий! и чем же умудряющий? – тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупинцы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупин, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее выработал в себе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими братьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдоострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм – тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основанье эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.

1846

XVII

Просвещение

(Письмо к В. А. Ж.....му)

Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце! В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и придет тебя навестить, старый ли друг твой или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленись ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на вниманье благоговейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя «Одиссея» принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, – наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленью, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божью, попустившую временному разделенью Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой – волноваться вместе с людьми; одной – не принимать в себе никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами Церкви, другой – меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной – на время как бы умереть для мира, другой – на время как бы овладеть всем миром; одной – подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног Самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применить и передавать их людям, другой же – подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Благоую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недалновидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее *мертвым* трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Не легко применить Слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться

им самой. Зато в нашей Церкви сохранилось все, что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышленьем, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введением в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигли святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства – все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье, – которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подымля в обеих руках и троесвещник, знаменующий. Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходящее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!» Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья!»

– и ничего к ним не прибавляется больше.

1846

XVIII

Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает всё, но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупницу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако ж, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выберит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и купец и помещик – словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образование, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что – нечего таить греха – все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, – без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдаль от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники

и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель – сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это не даром. Видит Бог, говорю не даром!

1843

2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так не попадут складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, избранить меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и избранить за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразием предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззвании к самой России, спрашивая у нее самой объяснения непонятого чувства, его объяввшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение истинного чувства. Мне и донныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому – именно ему самому, – тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтора десятка лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынные, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего

это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало без устани. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движении многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примененье, в уменье приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороною, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом – везде, куды ни обращай, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту – пусть его грабит людей. Словом – у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон – служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Как исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому названье «Мертвые души», – произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желанья любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет

неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где вернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвалы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святину своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство, – вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843

3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно, – именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из такого-то душного погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим*. Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия, – я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчеваешь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошрое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, – вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее

появление может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтверждение или в опровержение всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, – тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться?

Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог вещь из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен из всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, – скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ишу его и стораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освободиться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтении моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней взглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумашь. Пока не станешь сам хоть

сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоеешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошмаров – я также не выдумал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», – говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь, любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешься. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнурению сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не

знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье – нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал большую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную – положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

1846

XIX

Нужно любить Россию (Из письма к гр. А. П. Т.....му)

Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами и усилиями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки – не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, – ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, – последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупницу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбивши своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.

1844

XX

Нужно проездиться по России (Из письма к гр. А. П. Т....му)

Нет выше звания, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь распрощаться с миром. «Раздай все имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь», – так говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, – стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, – где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь – значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш – Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздаётся крик ее душевной болезни. Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? – в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью, – у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противоположных губерниях, исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведенья ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мнению, значительнее всех прочих, – свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти лентясь, уметь заставить всех других работать. У вас все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «Отчего это?» – вы отвечали: «Все от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об умении выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались изо всех сил, и один записался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России... и грех вам, что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если б я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас, – слава Богу, честолюбия вы не имеете и в ваших глазах никакая служба не низка, – но потому, что ваши способности, раз-

вившись, требуют уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотрите хорошенько, и вы его отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким.

Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мнение о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мнения о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую, дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружаясь одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь – так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюденье над нынешними вещами. Разговорись с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятие о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не позабывайте того, что теперь все между собою в ссоре и всяк друг на друга лжет и клеветает беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них узнаете остальное. И если вы таким образом проедите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить. А покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: Он прямо называет миротворцев сынами Божиими. А миротворцу у нас поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой,

как кошки с собаками; мешане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силою на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведение земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомя их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этому еще не услышал хорошо и сам проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: «Не крадьте, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим» – теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет: «Да ведь это уже известно», – но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь – я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить, роскошью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать – помогаю: ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью.

Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит *косвенно*, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей; вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимается у него волос и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на

барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуда появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды, – показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого, а тот, с своей стороны, насел на какого-нибудь заседателя или станowego пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньга, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его – от неведения, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподыми проповедник завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хватать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда смекнет, что разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе, и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом – если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведенья.

Жизнь нужно показать человеку, – жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних, – жизнь, оглянутаю не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнание России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благотельный обмен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш – Россия!

1845

XXI

Что таков губернаторша (Письмо к А. О. С.....ой)

Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но в сторону наши здоровья; мы должны позабыть о них, так же, как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его, – он ваш, он вверен вам, он должен быть вашим родным. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали – вот и все. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на все. Перед вами два живые примера, которых вы сами назвали. Предшественница ваша Ж*** завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе – и кучу бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в К***; княгиня же О***, бывшая до нее губернаторшей в том же вашем городе К***, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и официальное, а между тем донныне никто в городе не может о ней вспомнить без слез, и всяк, начиная от купца до последнего бобыля, до сих пор еще повторяет: «Нет, не будет другой никогда княгини О***!» А кто это повторяет? Тот же самый город, для которого, вы полагаете, ничего невозможно сделать, – то же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. Итак, будто бы уж ничего нельзя сделать? Вы устали – вот и все! Устали оттого, что принялись слишком сгоряча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла... Повторяю вам вновь то же самое, что прежде: ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе, с вас будут перенимать все до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всем. Если вы только собственные ваши дела станете обдeldывать хорошо, то и сим уже сделаете влияние, потому что заставите других заняться получше собственными делами. Гоните роскошь (покамест нет других дел), уже и это благородное дело, оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источник взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня О***. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сделать много хорошего (если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше), о вас уже распространились слухи вне К***; кое-что из них дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны, вы еще слишком увлекаетесь, вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой, вспомните вновь мои слова, в справедливости которых говорите, что сами убедились: глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда все пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас

сообщить все, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали, тем более что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более что сами же приписываете мне некоторое не всем общее познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог, в вашем душевном деле более, чем кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им.

До сих пор в ваших письмах вы мне давали только общие понятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу; но и *общие* ваши не полны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со времени моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления губерний произошли значительные перемены: многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведомство и управление других министерств; завелись новые чиновники и места, словом – губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде, а я просил вас ввести меня *совершенно* в ваше положение, не какое-либо *идеальное*, но *существенное*, чтобы я видел от мала до велика все, что вас окружает.

Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К*** узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке (N#####В причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно, – не так, как привыкла исполнять ваш брат – страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, затем что они пришлись ей как-нибудь по сердцу, но так, как наш брат – холодный, бесстрастный мужчина, или, лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты.

Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключения. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого. Все это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяким, вы должны спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все *ее предметы* и означил *ее пределы*. Это будет первый вопрос. Потом попросите его, чтобы он изъяснил вам, чем именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, что именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла. Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тот же час все это на бумагу для меня. Вы уже сим два дела сделаете разом: кроме того, что дадите мне средство впоследствии вам пригодиться, вы узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему недостает, словом – своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же... Но не в этом дело: до времени лучше не торопитесь; не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальней всмотреться; довольствуйтесь покамест тем, чтобы передать мне. Потом на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги – ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом – все, что можно прибавить о нем со стороны.

Потом такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем, узнали несовершенно, – я в этом уверен. Относительно женщины вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищите все избранных и лучших. Друг мой! за это я вам сделаю упрек. Вы должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дрянца, – по крайней мере, побольше узнать их, потому что от этого зависит многое и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте; вы же имеете дар выспрашивать. Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякий совет, какой ему ни дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет не легок, неудобноисполним. Словом, женщин – всех насквозь! чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе.

Сверх характеров и лиц обоого пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записыванье сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях, систематически и во всей полноте, весь объем города, чтобы видеть вдруг, не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил наконец полное понятие о вашем городе.

И если вы меня таким образом познакомите со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий, у вас случающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тех же пор ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, – такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали: «Он легок, его можно привести в исполнение».

Вот, однако же, кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить вниманье на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное. Как только будут честны советники, тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом – все станет честно. Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз; это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них берут и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог даже и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно, снизу будет все честно само собою. До времени, пока не вызрело зло, не преследуйте никого; лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедлива. Губернатор может всегда иметь влияние *нравственное*, даже очень большое, подобно как и вы можете иметь большое *нравственное* влияние, хотя и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить, станут расспрашивать, за что и почему – и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона. Ваш поступок, то есть ваш и вашего супруга, с уездным судьей М*** уезда, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, – поверьте, сделал

уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в переднюю петербургских гостиных. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время – не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей и не преследовать их, но стараться вместо того выставлять на вид всяческую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать руку прямого, честного человека. Поверьте, что как только будет узноано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так, – все дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это – чувство благородства, – не того благородства, которым заражено дворянство других земель, то есть не благородства рождения или происхождения и не европейского *point d'honneur*⁵, но настоящего, нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь действительно благородный подвиг – все вдруг поднимется точно каким-то электричеством, и люди, которые делают пакости, делают вдруг благороднейшее дело. И потому всякий благородный поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян, только сим одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что если дворянин из той же губернии возьмет какое-нибудь место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то, каков бы он ни был сам, хотя и лентяй и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он исштался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, – все, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причине совершенных гадостей, предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был *с отрешением от дел*. Это очень важно. Ибо если он будет предан суду *без отрешения от дел*, то все служащее будет еще долго держать его сторону, он еще долго станет юлить и найдет средства так все запутать, что никогда не доберется до истины. Но как только он будет предан суду *с отрешением от дел*, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, всё выйдет на чистую воду и вдруг узнается все дело. Но, друг, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш. Не объясняйтесь с ним сами и не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным, – преступленье вдвойне гадкое, приемля в соображение то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться! а потому изгнание ее нужно было сделать публично и гласно. Но не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным; иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления. Действуйте или через вашего духовника, или вообще через какого-нибудь умного священника, который бы навещал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно, а главное, старайтесь, чтобы он не оставался без какого-нибудь труда и дела. Не подоби́йтесь в этом случае *мертвому* закону, но *живому* Богу, Который всеми бичами несчастий поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром Божий не поразил его – это значит, что он держится на свете для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас, во время ли описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутится ваше сердце, – в таком случае советую вам беседовать об этом почаще с архиереем; он же, как видно

⁵ вопрос чести (фр.).

из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте пред ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был не большой знаток в науке лечить, то и тогда вы должны ввести его непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Старайтесь ему очертить все до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него перед глазами, чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы чрез то самое его мысли стремились сами собой на беспрестанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей, и он сумеет потом выставить многое начистоту и, не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к липу к его собственной мерзости, так что сам хозяин плюнет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников, узнайте их всех непременно; от них зависит все, и дело улучшения нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них, несмотря на простоту и невежество многих. Их скорей можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем совершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и увещаний своего брата, как бы они справедливы ни были, наконец, самые развлечения... Духовный же, каков бы он ни был, он все-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смиреннее и всех ниже; притом уже в самом ежедневно отправляемом им служении он слышит себе напоминание, словом – он ближе всех нас к возврату на путь свой, а возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас. И потому, хотя бы вы встретили из них вовсе неспособного, не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенько. Расспросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не позабудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство и купечество; что они также начинают модничать и курить сигарки, это дело повсюдное; мне нужно взять из среды их *живьем* которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них обо всех в подробности. Одну сторону этого дела вы узнаете от священников, другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенько разговориться об этом предмете, третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговориться с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами *примерный образ* мещанина и купца, чем он должен быть на самом деле; в урде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призывайте священников и толкуйте с ними: вы им скажете именно то, что им нужно: самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно из-за этого, иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение, помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто поглубей и позадористей, погрозите тому *архиерею*; но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и синод, и сам государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их губернаторша может произвести много нравствен-

ного влияния на купечество, мещанство и всякое простое сословие, обитающее в городе, так много влияния, как даже вы представить теперь себе не можете. Я назову вам только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать: во-первых... но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество: слова мои могут прийтись не совсем кстати, лучше не произносить их вовсе; скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений, которые не только не сопряжены ни с какими пожертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновение и развлечение духа.

Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную: всякий из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как их можно подстрекнуть; есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепенется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных; я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки, грубость, черствость, неловкость обращения, ни даже на фанфаронство, шелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво-неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромодили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, – ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на все чистое, подвигнет своего мужа на исполнение честного долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас любят, и любят сильно, да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу; но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил...

Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся кстати ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болит. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощупаю ее моей собственной рукою. Итак, рассмотрите же вновь, ради меня, весь город. Опишите все и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла. Поступите как прилежная ученица: сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объяснениях со мной как можно обстоятельней, не забывайте, что я глуп, решительно глуп, по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание. Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно все истолковывать; тогда только письмо ваше будет так, как следует. Я не знаю, отчего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам кой-что предсказать и предсказанное

сбылось, – это произошло единственно оттого, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность эдак угадать! Стоит только попристальнее взглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или скажет загадку. Я вас, между прочим, еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глазами: *«Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного Бога»*. В руках милосердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого Бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже слышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость! Для меня мерзости не в диковинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблаговел еще более перед Провиденьем. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобил Он меня, хотя отчасти, узнать мерзости как мои собственные, так и бедных моих собратьев. И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу, а в том числе и вам, так это оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это все же наконец от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя чрез это лучшими других. Помните же все это и, помолясь, примитесь снова за свои дела бодрей и свежей, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем все разбросано и нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все в вас, вопросы мои сделались бы вашими вопросами и желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким именно образом, как я хочу.

1846

XXII

Русской помещик (Письмо к Б. Н. Б.....му)

Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда; что виноваты тому сами помещики, это также правда; но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, – плюнь ты на этикие слова: сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его ни научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взывает с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же это в Святом писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: что с тебя взывает Бог за последнего негодяя в селе и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим, ибо знаешь, да и они знают, что, заленившись, мужик на все способен – сделается и вор и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им ни скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания; покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божьей, а не с своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду: что душа человека дороже всего на свете и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать уличенному в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, среди их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ Богу. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влиянья, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию, что пьяница не может учить пьяницу и что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уваженье, как бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе; чтобы, еще зави-

девши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и все бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах ты невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум; не наведет на разум – собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавши к себе и, если они старики, то посадивши их перед собою, потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добру других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам Бог. Так поступи только в течение одного года, и увидишь сам, как все пойдет на лад; даже и хозяйство от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится». В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек – синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро.

Но вот, однако же, тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько, и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня; один из них тебе знакомый К**. Собственно о том, какими отраслями хозяйства следует заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня; притом и деревня твоя мне не известна так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшение. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что покамест нужнее всего прочего. Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба – был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоём дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспрямлюй таким же образом и еще большим пиршеством окончание работ, в сопровождение торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умеи пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом – назови всем, чем только не хочет быть русский человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя силы словами: «Прихватим-ка разом, ребята, все вместе!» Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов, медицинских муционов и вялых прогулок.

Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет как убитый, богатырским сном. Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истинно уже зародится охота к грамоте,

и притом вовсе не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий закон человеку, – тогда другое дело. Воспитай его как сына и на него одного употреби все, что употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.

Кстати о священнике. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником, ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами помещики. Они наместо того, чтобы пригреть его у себя в доме как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставят его в такое положение, что он еще должен потворствовать и угождать им, наместо того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть, и после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю: кто не огрубеет даже из приготовленных и воспитанных? А ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое главное, – бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик и каковы должны быть их отношения между собою. А между тем и к нему будет больше уваженья со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в доме своем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно. Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувши к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познания вещей, и познания человека, и много всякого добра, потому что в тебе, слава Богу, всего этого довольно, и ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всяк невольно усвоит себе не только твои мысли, но даже и образ их выраженья, и самые слова твои.

Что же до проповеди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебе скажу вот что: я скорей того мнения, что священнику, не вполне наставленному в своем деле и не ознакомленному с людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет, лучше немного потерпи, по крайней мере до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты также. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посоветовал и что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми святых отцов и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоуст, имея дело с народом-невежею, принявшим только наружное христианство, но в сердцах остававшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику, и он поймет. Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места, а таких мест у Златоуста десятками во всякой проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе, затем, чтобы уметь их произ-

нести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он хлопотал о какой-нибудь собственной выгоде своей, от которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко, – не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К** священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З** послал к нему нарочно исповедовать 30 человек рабочих с своей фабрики, пьяниц и мошенников первейшего разбора, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время, как они будут выходить из церкви: все вышли красные, как раки. А кажется, немного и держал их на исповеди; по четыре, по пяти человек исповедовал вдруг. И после того, по сказанию самого З**, в продолжение двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, отчего это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только год, а там дело уже само собой пойдет работаться так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты как Крез, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словами, что они врут и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями – связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной великочинный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, – это дело не бездельное и служба истинно законная и великая.

1846

XXIII

Исторический живописец Иванов (Письмо к гр. Матв. Ю. В.....му)

Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, – явление небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, – говорю *буквально* – не умер с голоду, – и до сих пор ни слуху ни духу из Петербурга. Ради Христа, разберите, что это все значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтоб ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику, а не о том, которое следует ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, о котором все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. Воля ваша, я вижу во всем этом волю Провиденья, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать.

Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: «Как! восемь лет сидел над картиной, и до сих пор картине нет конца!» Но теперь этот упрек затихнул, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов, приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картин Брюллова и Бруни), требовала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и притом таких, какие бы он хотел. Словом – теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, – явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначенью. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно – первое появленье Христа народу. Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воду. В толпе этой стоят и будущие ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различные телесные движенья, устремляется внутрен-

ним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних – уже полная вера; на других – еще сомнение; третьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушение и покаяние; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движениями, показывается вдали Тот Самый, во имя Которого уже совершилось Крещение, – и здесь настоящая минута картины. Предтеча взят именно в тот миг, когда, указавши на Спасителя перстом, произносит: «Се Агнец, вземляй грехи мира!» И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслию к Тому, на Которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших сбежать с лиц, впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета пророк не приходит». А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям.

Безделица – изобразить на лицах весь этот ход *обращения человека ко Христу!* Есть люди, которые уверены, что великому художнику все доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей, игра в карты и моление Богу, словом, все может достаться ему легко, будь только он талантливый художник да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он *почувствовал* и о чем в голове его составила уже полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что ни относится до гармонического размещенья цветов, одежды человека и до обдуманной ее наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает внимание знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого просидел по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикое захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом – сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, – представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображенье. Иванов напрягал воображенье, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движенья душевные, оставался в церквях следить за молитвой человека – и видел, что все бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращения, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внушенную мысль, а в это время упрекали его в медленности и торопили его! Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страдают многие наилучшие и наилучшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли сурьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из

них говорили: «Сам же виноват; пусть бы большая картина шла своим чередом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», – говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, любившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? тогда бы ему вдруг были высланы деньги». Да, как бы не так. Попробуй кто-нибудь из нас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясняться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут, весьма естественно, даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, свыше той, на которой оно стоит в нынешнем модном веке! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дело, которое вас потому изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое покуда и мне самому еще не совсем понятно, а вы, во все то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержанье»? Тогда, пожалуй, явятся много таких охотников, которые заговорят таким же образом – да им разве безумец даст деньги. Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так: «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль – изобразить кистью обращенье человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращенье, и давайте до того времени мне деньги на мое содержанье и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все: «Что ты, брат, за нескладицу городишь? за дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращенья! Ты должен быть и без того христианин; ведь вот мы же все истинные христиане». Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к Нему прибегать и жить в Нем так, как не живет в Нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышленьями, – не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на полотне, и он действительно бы обманул и себя и других, несмотря на все желанье не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состоянья душевного, когда, по воле Бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочиненья тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитаньем. В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотоле, – не позабудьте, – единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги; а я не в силах был произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насильно написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух, трех месяцев таковой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а присоединившиеся к тому недуги нервические и, наконец, недуги от неуменья изъяснить никому в свете своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Один раз, в прибавление ко всему этому, я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже

давно тому. Спасен я был государем. Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще и мысль, – если удостоит меня Бог сделаться, точно, человеком близким для многих людей и достойным, точно, любви всех тех, которых люблю, – сказать им: «Не забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения. В прибавленье скажу вам, что в это же самое время я должен был слышать обвиненья в эгоизме: многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах, которые они затевали, по их мнению, для блага общего. Слова мои, что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотою Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что, кроме нездоровья, мне нужно было временное отдаление от них самих, затем именно, чтобы не попасть в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей, – я даже этого не мог объяснить. Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевелинуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

То же самое и в деле Иванова; если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств, вдруг бы все до единого исполнилось негодованья противу тех, которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которою бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не был истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы – я: я испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле, и не объяснил этого другим! И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело; не то – грех будет на вашей собственной душе. С моей души я уже снял его этим самым письмом; теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди и как ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь! деньги все вознагралятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будет окончена картина – беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь плотят за вновь находимые картины прежних великих мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как

Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть все и при высоком и нежном образовании душевном, при большой чувствительности ко всему вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами, на всяком шагу, мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художества, чтобы не думали они о том, как заводить галстучки да сертучки да делать долги для поддержанья какого-то веса в обществе; чтобы знали вперед, что подкрепление и помощь со стороны правительства ожидают только тех, которые уже не помышляют о сертучках да о пирушках с товарищами, но отдались своему делу, как монахи монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесали у себя в затылке все другие. Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе; может быть, из нее и копейки не возьмет для себя, – эта сумма будет вся употреблена на вспомоществование истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь чиновник, и распоряженья по этому делу будут произведены лучше чиновнических. За чиновником мало ли что может водиться: у него может случиться и жена-модница, и приятели-едоки, которых нужно угощать обедом; чиновник заведет и штат и блеск; станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам, и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвизался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят другие, и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как делал это Иванов, тот – другое дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно, – не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах, и все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому, собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление. А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый и ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью; его собственная жизнь скажет все. Если он так же, как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отогнав от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно, – тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его – оставьте его в покое: подтолкнет его Бог без вас; ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содержания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира.

1846

XXIV

Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться. Положенье вас обоих, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех, которые считают себя в горе и несчастьи. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управленья собою. Никто из вас не господин себе. В вас нет характера, признавая характером *крепость воли*. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбужденье на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положенье ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один делается вашим характером, и станете вы оба – олицетворенное бессилие. Молите Бога о *крепости*. У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», – говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» – и действуйте в продолжение целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках. Не ведите общей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче – деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче – экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом – все, что относится к этой части. В четвертой куче – деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче – деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча – Богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход, каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастья, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молитесь, будьте готовы даже на униженье себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы пом-

нили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обрезать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшение для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не *comme il faut*⁶, но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикетки, даже и не сама мадам Сихлер. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освободив себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепление его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично

⁶ светскость, соблюдение светских приличий (фр.).

не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.

1846

XXV

Сельский суд и расправа (Из письма к М.)

Никак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому в деревне: эта часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд – Божье дело, и я не знаю, что может быть этого выше. Недаром так чествуется в народе тот, кто умеет произносить правый суд. К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из проходящих и судите всех, хотя бы даже в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе, и чего бы вы никак не нашлись сказать в другое время, не найдя, к чему прицепиться.

Судите всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли и другие мужики, чтобы все видели ясно как день, чем один прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте Божеский. И на нем осудите и правого и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму – как он вдвойне виноват и пред Богом, и пред людьми; одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел Самого Христа в своем брате; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнали дух земли, свойство народа и вообще душу человека, и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововведений. Правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть – оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городского солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

1845

XXVI

Страхи и ужасы России (Письмо к графинеой)

На ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом, которое просили сей же час истребить после прочтения и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не все), тогда бы, точно, помutilись ваши мысли и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит: все, не выключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных, сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «Все падают духом, как бы в ожиданье чего-то неизбежного», равно как и слова: «Каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: *sauve qui peut*»⁷, действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасти себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже Сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружащимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а не кто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься от кого бы то ни было, нашему честолюбию или самолюбию, – нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куды сокрыться от своих страхов. Вспомните *Египетские тьмы*, которые с такой силой

⁷ Спасайся, кто может (фр.).

передал царь Соломон, когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего, все чувства, все побуждения, все силы в них погинули, кроме одного страха. И произошло это только в тех, которых наказал Господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов; для них был день и свет.

Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа. Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог ведь, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев, способный всякую минуту овладеть вашей душой, на радость врагу Христа; может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние – жалкая дочь безверья в Бога; может быть, там еще таится тщеславное желанье гоняться за тем, что блесит и пользуется известностью светской; может быть, там обитает гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить в ничто все добро, какое имеем. Бог ведь, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образуются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли русской и принесут ей вековечное добро; но к чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше. Целое жемчужное ожерелье их хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства (дай Бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшее желание души моей), – начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явление необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, расслабления и развращения общего, повсеместной ничтожности общества, могли они образоваться. Но всех перевысила одна, которую я и в глаза не знаю и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело, и произвести его так, как умела сделать она; сделать так, чтобы отклонить от себя и подозренье в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвастаться ею сделанным делом, как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно бы кричать о себе и обнаружить ее! Успеть в этом и остаться в неизвестности! Нет, подобной мудрости еще не встречал я ни в ком из нашей братии мужеска пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами: они то же перед этой истиной, что бред воображенья перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью! И где же явилось такое чудо? В

незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех и наступили пугающие вас страхи и ужасы России.
1846

XXVII

Близорукому приятелю

Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элементы французские – не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаким образом на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадет на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его. Мысли твои о финансах основаны на чтенье иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиваться, а не захламостить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участия Божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освящения небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет, ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой: ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться Бог. Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может; ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело *прочное*, а мы производим кучи дел, и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд – говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы равно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не действуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретила тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и

опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!

1844

XXVIII

Занимающему важное место

Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора – вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, – все легко. Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не увлекают вперед уже ни чины, ни награды, вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состоянья душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего ж вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ – вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смирение вас не допустит ни к какой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственных схватках с неприятелем, зная, что только из знания подробностей выводится знанье целого. Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни; расспросите и цициановцев, и ермоловцев, и офицеров нынешней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог – выйдет в итоге сам собою план полководцу: не нужно будет и головы ломать, ясно будет как день все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться; христианское смирение вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте; вы не оставите неуслышанным ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человеку умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в преньях и спорах дело, но поодиночке выслушаете каждого, кто бы ни захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете, но сделаете так, как повелит вам ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от гордости и уверенности в себе. Но христианское смирение спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое находит на многих даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали все, и летят опрометью действовать; тогда как, уввы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, Бог от вас отгонит это грубое ослепление. Чего ж вам бояться Кавказа?

Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России – та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России – гораздо труднее, чем когда-либо прежде, и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у наиумнейшего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смирение заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума, но терпеливо

обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всяк человек и как все они имеют соприкосновение с отправлением его должности, вы прежде полюбопытствуете узнать каждого из занимающих главные должности, узнать его со всех сторон с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы расспросите его самого. Он вам скажет все и с вами разговорится, потому что в лице вашем есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех; с помощью этого вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун-нахрап, или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном которой есть вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотрительней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы. Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой, а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте. Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет совсем другое, нежели прежде. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое, однако ж, принесло большую пользу, несмотря на то что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благотворное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребывания на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность: «Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившийся на дороге». Определенье это точней и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная.

Генерал-губернатор посылается затем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии, привести в быстрейшее движение все правительственное производство в губернских местах как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств, дать толчок всему, своим полномочием облегчить затруднительность многих мест в их сношениях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не заводя от себя, все заставить обращаться быстрее в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в верховном блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и принять на себя все мелочные расходы; вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение высшее вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими собственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремление прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позаботились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремление к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нуж-

нейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, дороги и все эти сообщения суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них не много хлопотали, но как только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели их без всякого пособия правительств, и теперь развилось их такое множество, что стали уже сурьезно задавать друг другу вопросы: «Зачем эта скорость сообщений? Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком да увеличилось число празднующихся по всему миру?» В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите прежде, – сказал Спаситель, – а сия вся вам приложится». Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительней. Кого я ни слышал, все отзываются с уваженьем о ваших распоряженьях; все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время и что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было хорошо, но именно о том, чтобы после вас все было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его, а потому уже с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и закалить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движенью всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так чтобы незачем было над ней стоять и надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсем поступите иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать, кроме генерал-губернатора.

Во-первых, ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познание его должности. Это дело очень не бездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим; прямые места обессилели и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоваться полномочие и развязанные руки там, где нужно *препятствовать* в действиях, и связанные руки там, где нужно *споспешествовать* им. Возвратить всякую должность в ее законный круг тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней. Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм губернии. Первое лицо – губернатор. Он является в нескольких видах своей власти.

Он начальник и правитель полномочный во всем, что ни относится до хозяйственного и полицейского управления по всей губернии, как городского, разумея здесь все, что ни относится ко внутреннему устройству городов и содержанию среди их порядка, так и земского,

включая сюда все, что производится в землях вне городов: взем податей, распределение повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае в его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничие всех городов; во втором случае – капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского правления, образованного в духе коллегиальных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем, так что ответственность во всяком важном злоупотреблении, если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочье своем он уже ограничен.

Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах, от него вовсе не зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств; если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, относительно ли отдачи внаймы или на откупа казенных земель, озер или вообще относительно всяких продаж, закупок и совершенья на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях к злоупотреблениям.

Весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция – гражданская палата, находясь в полном заведовании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, имеет право, заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому, вместе с секретарем своим, и таким образом держать в страхе их всех. Словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребление повсюду, где бы оно ни было.

На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми; здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить, принимая в соображение то различие воспитания, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств и которое заключилось только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чином званью губернатора, имея право на первое место после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непростошно на поприще должностном. Самые места капитан-исправника и заседателей, которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозия именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватит собственной власти; равно как и губернатор посредством предводителя может успешней и сильней действовать на дворян.

Всюду могут случиться просмотры, неправда может проскользнуть везде; за самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено: есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губерnskим местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил на всех его страницах свое слово: читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии; никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним только в прямом сношении, и всегда может подать протест на все, что ни вершится в губернии.

Словом – все полно, и везде слышна законодательная мудрость, как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою. Я уже и не говорю о тех учрежде-

нях, где еще далее простерлось правительственное предвиденье, упомяну только о Совестьном Суде, подобного которому не знаю в других государствах. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познания душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновенье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, – есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никаких наград и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Сами тяжущиеся мимо собственных выгод своих перенесут дело в Совестьный Суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего Божеского суда. Кому из нас не хочется примириться?

Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям. Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник; всякое новое лицо тут не у места, всякое нововведение – ненужная вставка. А между тем нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов, разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения – самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком; на следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограниченья, и тогда ограниченьям не будет конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного, где неизвестны ни самоотверженье, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверье к благородству человека, а без того не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом – чтобы он был введен в значенье высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебрежет постигнуть сам всякую должность в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значенье его должности. Вследствие этого все ваши сношенья с чиновниками будут самоличны, без всяких секретарей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия сделается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие начальники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые затруднения, дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого не зримому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела;

у секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней – интриги, ссоры, а с ними вместе и сам черт путаницы, который тут как тут во всякое время; и дело кончится тем, что, сверх нанесенья новых беспорядков и сложностей, пожретя несметное количество казенных сумм. Храни вас Бог от заведенья канцелярии. Иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно, если разговор близок к нему самому, к исполнению его обязанностей и долга, стало быть, близок к самой душе его? Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долге человека можно так разговориться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии Самого Бога. Говорите же так с вашим подчиненным, то есть – наставительно и питательно его душе! Не забудьте, что на русском языке, – я разумею не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей русской земле, несмотря на чужеземствование наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык – на этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними, как отец с детьми, а отец с детьми не заводит бумажных переписок и напрямик изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познание его должности и сделаете истинно великий подвиг.

А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить, кроме генерал-губернатора, и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство в познание истинное своего звания. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, третьи берут себе в идеалы дворянства государств иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса: нужно ли на свете дворянство? Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и масса их не слышит. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распуścić в нашем дворянстве слух, будто правительство ищет обессилить их значение и довести их до ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду между дворянством и правительством: с одной стороны, показать государю России партию каких-то фантастических бояр, оспаривающих самую власть, а с другой стороны, показать дворянству, что государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания. То есть им хотелось заварить в России какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь роль. Расчет был на то, что взаимное опасенье и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей. Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом, тем, однако ж, не менее искры недоразумений и взаимного недоверья заронились, и я знаю многих дворян, которые уверены сурьезно, что государь не любит их сословия, и от этого даже тоскуют. Дело это им разрешите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, – в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? а у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило значенье своего звания, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразье мыслей, воспитанья, жизни, привычек, при

таким сбивчивом образе понятий о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь-то вы можете истинно им всем помочь, потому что, будучи сами русский дворянин и уже понимая высшее значение нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начала всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явление, точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях. Началось оно не насильственным приходом, в качестве вассалов с войсками, всегдашних оспоривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего; началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и всей землей, – выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости какими-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях; нет спеси немецкого дворянства; никто не хвастается у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, – хвастаются разве только какие-нибудь англomаны, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию; может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предком, и то таким, который сослужил истинно верную службу царю и земле своей; а похвастайся он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму его же собратья дворяне. Одним только позволяет себе всяк из них похвастаться – это чувством своего нравственного благородства, которое уже Бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был всех хуже и весь зажил в грязи и саже. Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу и увековеченье имен своих в потомстве; если ясно покажете им, что вся русская земля взывает о помощи и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства следует показать тем, которые уже от рожденья получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дела, объясните им всю правду. Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду начисто. Скажите им, что Россия, точно, несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой; что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помраченья и всеобщего уклоненья всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно: так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля, так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встрепенется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И, отслуживши, не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавши вверенных им крестьян таким образом,

чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезли повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшения. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей; чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. Сим только одним могут возвесть они это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названия ни вольных, ни рабов, но называется христианами от имени Самого Христа. Все это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значенье нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг.

А вот вам третий подвиг, которого тоже никто не может сделать, кроме генерал-губернатора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно: законы собственно гражданские выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаев; с другой стороны, они вторгнулись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением Церкви. Случилось это не насильственно: разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение Церкви, тогда их может заключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклоненья от общественного порядка и отношения собственно государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошло именно оттого, что европейские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидя в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владенье другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело и даже им хвастается, тогда как он устыдился бы и самой мысли о том, если бы служитель Церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом – во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком Церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы гражданскому закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать Церкви? Словом, как возвратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет. В России есть возможность; в России может это нечувствительно совершиться – не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами и

даже не заседаниями, не комитетами, не прениями и не журнальными толками и болтовней; в России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его управлению области, и как просто: не чем другим, как только собственной жизнью своей.

Патриархальностью жизни своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетками и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту. Он может сильно подействовать на то, что отношения между собою как жителей городов, так и помещиков станут проще; а уничтожение этой сложности светских отношений, какая ныне, уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникнули, как вихри, между обитателями городов. Так же, как на водворение обычаев, может подействовать генерал-губернатор на законное водворение Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, – самими мерами, не принудительными и насильственными, но сильнейшими в несколько раз всяких насильственных. Об этом когда-нибудь мы с вами поговорим после, когда вы действительно возьмете должность, а до того времени скажу вам только вот что: если уже простой обычай сильнее всякого письменного закона, а между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значения в нынешнем времени, установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда; не слышишь даже авторитета, его утвердившего; иногда он тянется еще от времен язычества, противоположен христианству и всем элементам новой жизни. И если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжение многих лет? Что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно будет признан всеми и освящен свыше Самим Христом и Его Церковью? Такой обычай пойдет во веки веков, и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но этот предмет велик; о нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда Бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу. Работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть – бодрящею, освежающею силою пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом в другую губернию затем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточен и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского губернатора. С Богом же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами: не забывайте нигде, что вы на время. Устраивайте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо, но и после вас; чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам в утвержденные вами границы, держась вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте отец истинный всем вам подвластным чиновникам и каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освободиться от его собственных пороков и недостатков. Имейте на всех влияние, но влияние единственно затем, чтобы заставить каждого иметь на самого себя влияние. Смотрите также, чтобы никто не опирался чересчур и слишком на вас, как на собственный посох свой, подобно тому как римско-католические дамы опираются на духовников своих, без воли которых они не смеют переступить в другую комнату и ждут для этого исповеди; но чтобы помнил человек, что нянька дается ему на время, а не навсегда и что как только отступает от него наставник, тут-то ему и следует блюсти за собой осторожней, чем когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотреть за ним, и содержа, как святыню, в своей памяти всякое слово, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при расставанье с вами, если бы случилось вам оставлять вашу должность, но чтобы бодрей и свежей еще глядел каждый вперед, а потому ко дню расставанья копите все, что хотели бы вы сказать в наставление каждому: в этот день

будут для них святы все слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполнят. Для меня наилучшая минута – время расставанья с моими друзьями; всяк из друзей моих, кто теперь ни расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так гоняются. Заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то – любите ли вы других, а не на то – любят ли вас другие. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излиятий, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу.

1845

XXIX

Чей удел на земле выше (Из письма к У.....му)

Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получают равное воздаяние – как тот, которому вверен был один талант и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно оттого, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравниваются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать *равно* в Боге. Конечно, Сам Христос сказал в другом месте: «В доме Отца Моего обители многи суть»; но как подумаю об этих обителях, как подумаю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен: «Какую из них хочешь?» Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в доме Твоем!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!

1845

XXX

Напутствие

На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Все вижу и слышу: страда- нья твои велики. С такую нежную душою терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвы- шенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикоснове- ние в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки, – расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости и терпеть презренье от презренных! Все это тяжело, знаю. Твои страдания телесные тяжелы не меньше; твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь, – все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, подлецами всех сортов и бесстыд- нейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую окле- ветанного, и не содрогнуться, – не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнус- нейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказания, их ждущего, от которого никто уже их не избавит.) Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоем почти беззащитном поприще и незаметной должности все может случиться. Твои нервические припадки и недуги будут также еще силь- нее, тоска будет убийственной и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем *там*. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сраженье с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит; нет, с черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его – вот слава, которою можно похвалиться! Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!

1846

XXXI

В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас улаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, – которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, – гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст камень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, – и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененьи государственных форм, – был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издаст дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше – он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от

света, внесенного в Россию, изумление от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремление к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внося новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, – и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божиим величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных стрóf польются вдруг у него такие стрófы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищен гремит.

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуйся ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие стрófы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких стрóфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые стрófы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, – с битвами вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними государственные дельцы, с пере-

говорами дипломаты, с академиями словесники и ученые, – появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшись в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновения, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распалющиеся свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, – что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновения, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко копышется вдали. О Державине можно сказать, что он – певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы – орлы; словом – все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было – начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурю,

Встает в упор ее волнам:
 То скачет в твердь, то, в ад стремяся,
 Трезубцем бьет по кораблям;
 Столбом власы седые вьются,
 И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримо* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подымется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть как гостью ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, – все скрипит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье – точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образования, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управлять себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу – не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему и, так же как щеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвигнуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста слышался аромат

истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»:

Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, нищему знакомой,
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнем. Вдруг заметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явление странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт – Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, – почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его, – переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё – вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? – не предстанет перед глазами твоими ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность – это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзрание ты предан
Невидимых, бессмертных сил,
И легионам заповедан

Всех ангелов, чтоб цел ты был.

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внося это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, – лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатление сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальная причина, от которой произошла и самая лень ума: это – свойство оценивать, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мнению, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взавши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце», где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, – тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство оценивать. Его «Славянка» с видами Павловска – точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направления. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического создания есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приутоплялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, – подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз – его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений вос-

приимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самом идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногословив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразило вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на вершине которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепакон у кабака – везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке – все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, – его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии.

Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» – и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явление изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они – отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они – полные поэмы обдуманые, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия! Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт и ничего больше, – что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сам самым наукообразным стремлением своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящийся отклика. Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? – это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня – точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие

вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделял так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные создания. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу – и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, вместо всего выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» – тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замыслил он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гете в «Фауст» навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, – и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя – в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские харак-

теры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей – всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горюхина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа – «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас – и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздалась какие-то дотолем не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, пролагатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава Богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбуждательного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, – повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка

стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть от всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И – бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!

Вот у него игра в свайку, которую он назвал пряморусскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно
Бьет в кольцо – кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.

Всё, что вызывает в юноше отвагу, – море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремь вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, – выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: „Стихотворенья Языкова“! их бы следовало назвать просто: „хмель“! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, – предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождалось. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не заметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.
У него, напротив, вот что говорит поэт:
Когда тебе на подвиг все готово,
В чем на земле небесный виден дар,
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово —
Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержания последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускорению дела, если человек проникнет смысл ее) – нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его – вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, – и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это слышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни – на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому поведено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях – и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него слышали недавно стихотворенье «Землетрясение», которое, по мнению Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском – противоположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина» обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни – словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного

столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля,
И наша собственная доля
Определяется видней.

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шума, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт – Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку, – и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек – словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится», или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!» – даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком.

Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чиновником, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размыслив того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом – всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на всё подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием – врагам она грозна,
А паруса – гражданские в ней власти.

Какая меткость определения! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недалёкозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо мастеров дела людей Бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведенью, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре – что в море, а в дураке – что в пресном молоке», – говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник» за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою, —

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестями не льстится
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная от изображения природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймашь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном, шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключение басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне пашей поэзии – поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отделились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с умением пред чем-нибудь истинно возблагодарить – свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого, – оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова – «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща

обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаниями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнание человека под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уважением; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая – от дурно понятого просвещения.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, непоколебимого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубения, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, – так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, – полное притупление всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья нанести кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильнее любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление – сделалось ему уже наслаждением. Словом – лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимострашные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества – выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, – словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещением, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званных, так и незванных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех,

кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском *comme il faut*, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим – тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще – тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвалили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью – тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодование молодежи, неуважение к старости и заслугам и склонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумлению, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставлением ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраниям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удастся ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в умении различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлестова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаниями на уважение от нового поколения, с требованиями почтения к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбрать вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уважения, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина, – словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин – тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы – дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди брожения новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них;

не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношении к герою пьесы, но в отношении к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае – то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, – это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двинулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданы художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накапливается вдаль; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленью захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий – завянуть и пропасть, – он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету *очарование* и стало модным, как потом

с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье*, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и безочарованью, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определенно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолобно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду – излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни – готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в пору самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, – и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключение, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влияние на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества – картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием – под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влияньем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, – чего не случалось еще доселе ни с одним народом, – воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованье среди его поэта. Словом – поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время выше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть

его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурой. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенной всякое свойство наше. Причиною второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и не неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодования благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильнее всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговящее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не пришло еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организовать, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы.

Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, – если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем, – то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию⁸, не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как

⁸ Маркиз Кюстин. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названия, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: название *уха*, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* – всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, – одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума – он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволяют; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага.

Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, – которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого – все позабыто, и вся Россия – один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда женибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, – все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как

во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настраивает душу к слышанию чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколение поэтов; нельзя служить и самому искусству, – как ни прекрасно это служение, – не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, – христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии – возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомним они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка – этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм – рождение верховной трезвости ума, – который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, осязательной осязанью непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей – дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, – не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие

силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию – нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней уютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

XXXII

Светлое Воскресенье

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, – он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздаётся у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, – если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть – и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивление всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы – в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно

воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему – *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пушу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми – неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянув на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, – в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуше ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренья! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратит его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все

позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспряздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, – гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его – и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться – и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, – дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспряздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, – и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначашая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что

значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, – то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и

внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, – доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспряднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресенье Христово!»

Авторская исповедь

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложенем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем как указаньем свыше – рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осуждениями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, – словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо *отчасти*, никак не может быть справедливо *вполне*. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознание искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах; желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смирение и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, выступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет; ударило ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влиянием страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе не приличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел

неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состояния. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неумение выражаться – принадлежности не вполне организовавшегося писателя – все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений не впопад. Гордость отыскивали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противоположную причину; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничижением то, что было вовсе не уничижением. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в суждениях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного, – это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовав, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей Церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещение народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим внимания к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовав сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу⁹. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий.

⁹ На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред Того, пред Которым ни один человек не бывает прав. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствования человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположении, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубеждение, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубеждение, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излияние и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблуждение, как и всякий человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью – это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, – исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охудению себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего – в уме своем и в верховности своей точки зрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами. Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет

духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, – запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтобы увидел читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе, так же как и во всем, следует признать участие Того, Кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с Которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объяснением хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с годами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как

живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался серьезно, – тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими годами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращения: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой нейдет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить

России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и не мудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сторал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить так же службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем чтобы вдали и в уединенье от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатались истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотолу перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, – словом, чтобы по прочтенье моего сочиненья предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, – также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидел, что нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест и не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустычника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он. Поверкой разума

поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображению: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупницу этого, – словом, нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученье пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу; я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желанье своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем Сам Сын Божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен Отец ваш Небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничижение паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благодный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя на то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения – и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнью, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста

в возраст, почему же один писатель должен быть исключением? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был – жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без вниманья людьми, – и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры – первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не *писал* портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображение – и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных

для всякого русского человека, и наших русских вопросов занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела.

Я сделал в то же время воззвание ко всем читателям «Мертвых душ» – воззвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтение «Мертвых душ» может расшевелить, особенно если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщей известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремление преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтение «Мертвых душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время когда писаны были «Мертвые души», произошло некоторое обращение на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображением людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъясляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состоянья моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объясню, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отделимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частью избирали эпоху, от нас отделившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное

настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влечения к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда склонен к сущности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряда других и стать на такое место, откуда бы я мог увидеть всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, – как бы, отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влечения и страсти к чужим краям. Я не имел так же того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле, тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, – ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выражению его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, – точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что, прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях, и, несмотря на то что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, – и точно, во все время пребывания моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет, не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорчения и, наконец, потребность большего уединения не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидел России. Все люди, с которыми я встречался, большею частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно

ему увидеть людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение, – движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассуждением. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом – во все пребывание мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое: дух мой упал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье спрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжении недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век неизвестными. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству не много возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека – тем более что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я беру в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, держа в

голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, – словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познание души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к Тому, Кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление, и едва только оправился от тяжелой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на отдельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещанья, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращаю внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою, – таково ли душевное состояние мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и

нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества: благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем – для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту страну, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требования от него слишком велики – и справедливо: для того чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться не даром. Нужно, чтобы в создание его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней мере, определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что про ходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель, может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как кремень станет во всем том, в чем поведено быть крепкой скалой человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретною живостью, которая делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, – и двери сердец растворятся сами навстречу к принятию их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильнее такого писателя и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как граж-

данин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влияние может быть скорее вредно, чем полезно. Это строенье себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличное от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, состоянье временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильней измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышленьи не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово – как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле Того... помышляю я о своем собственном строенье, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, – что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильнее, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в голове, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений, а мои убеждения... Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выразалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом – как честный человек, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны, по крайней мере, рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключения, а сам в то же время еще... должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе название Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства: одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье *творить*. Но, повторяю вновь как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, – скажу откровенно, – жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, вослед которым нам не посылается замена, в свидетельстве, что ни на малое время не оставляет человека Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, изнашивает другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне, – как только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы то ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, которые в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека, – то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий; где я могу употребить с действительной пользой мое знание человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы, при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объяснением прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготовлял уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить создания поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает, даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье, проникнут точно любовью к России, – то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю, пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский и кому дорога честь земли русской, должно также брать многие места и должности в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать

родную землю, потому что неправда велика и много опозорила... С другой стороны, я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для...

Как ни бурно нынешнее время, как ни мнутесь и ни волнуетесь вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ Небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда Один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в Нем Его Божественности, тогда следует поверить Ему на слово, даже и в таком случае, если бы Он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достиженью не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души – увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что, если хотя немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что, если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношение человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени – и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себя, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначенье человека – служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному, и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одною из главных причин моего путешествия к Святым Местам было желание искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности, на вступленье в жизнь у Самого Того, Кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготавливал себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик по окончании своего ученья спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприща, почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может быть, то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжкой болезни. Я был слаб; я не думал, что буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились обо мне те, которых вся жизнь стала одною молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников, в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней Тому, Кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезрнейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас и его молитва будет всех ближе к Богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объяснения с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что, когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? – хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочиненья связаны тесно с делом моей души. Бог вещь, может быть, и в этом была также воля Того, без воли Которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, как удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в общеньях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но когда выставишься перед лицом незнакомых людей, перед лицом всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, – тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнеешь больше чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю Бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего желания принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим, и особенно обществу в его нынешнем, совре-

менном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, как-то уже слишком сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти.

Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще и попримечнее. Учить общество в том смысле, какой некоторым мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам Церковь учить друг друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим братьям, соученикам как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов Того же Учителя, у Которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется. Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» – и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим Учителем. Я думал, что по прочтенье книги будет мне сказано: «Благодарю тебя, собрат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поученье, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданными своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключению, что верховная инстанция всего есть Церковь и разрешенье вопросов жизни – в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к Церкви, а в Церкви встретит и учителей Церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему вместо моей книги другие – позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключенье всего я должен заметить: сужденья большею частию были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мненья и советы; но выводиться, основываясь на этих мненьях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели – это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного

мерзавца, который заклеимен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что, прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека – кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение были для меня очень тяжелы, тем более что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их Бог никому получить. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

1847

Размышления о Божественной Литургии

Предисловие

Целью этой книги – показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого¹⁰. Намерение издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою.

¹⁰ Все прочие, которые бы захотели узнать более таинственные и глубокие объяснения, могут найти их в сочинениях патриарха Германа, Иеремии, Николая Кавасилы, Симеона Солунского, в Старой и Новой Скрижали, в объяснениях Дмитриева и, наконец, в некоторых... (Примеч. Н. В. Гоголя.)

Вступление

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду, со всех концов мира взывало к Творцу своему – и пребывавшие во тьме язычества и лишённые боговедения – слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями взывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданных, предстанет Сам лицом к человекам, – предстанет не иначе, как в образе того создания Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем, по мере того, как сколько-нибудь очищались понятия о Божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков богоизбранного народа. И самое чистое воплощение Его от чистой Девы было предслышиваемо даже и язычниками; но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков.

Вопли услышались: явился в мир. Им же мир бысть; среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия – не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось Его появление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали Его Божественно пророки, получившие повеление от Бога...

Проскомидия

Священник, которому предстоит совершать Литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь; вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, испрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в олтарь, произнося в себе псалом: «Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страхе Твоем». И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред ним три наземные поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на престоле; целуют потом и саму трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, – и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И, произнося в себе: «Боже! очисти меня грешного и помилуй меня!» – священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон; испросив благословение у иерея, надевает стихарь, подризник блистающего цвета во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства, почему и произносит при воздевании его: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя; яко жениху, возложи ми венец и, яко невесту, украси мя красотою». – Затем берет, поцеловав, орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанью всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо званье диакона, что званье ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развевающимся как бы в подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поручи, или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщенья им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: «Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов». Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих и молит у Него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, свышним Своим руководством, говоря так: «Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим заповедям».

Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон; но, вслед за стихарем, надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей – иерейской и диаконской. И называется он уже не орарем, но эпитрахилью, и самым воздеванием своим знаменует изливание благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания: «Благословен Бог, изливающий благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аарону, сходящее на ометы одежды его». Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и препоясует себя поясом сверх подризника и эпитрахили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий и дабы сим препоясанием выразить готовность свою, ибо препоясует человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясует и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на

крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: «Благословен Бог, препоясующий мя силою, соделавший путь мой непорочным, быстрейшими еленей мои ноги и поставляющий меня на высоких», то есть в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четырехугольный набедренник одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, в возвешение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, – ту победу над смертью, которую одержал в виду всего мира Христос, да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник; привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к Самому Господу: «Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя дивно десница Твоя». Наконец, надевает иерей фелонь, верхнюю всепокрывающую одежду, в знаменованье верховной всепокрывающей правды Божией, и сопровождает сими словами: «Священники Твои, Господи, облекутся в правду и преподобнии Твои радостию возрадуются». И одетый таким образом в орудия Божий, священник предстоит уже иным человеком: каков он ни есть сам по себе, как бы ни мало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым наляцает Дух Святой. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтением псалма: «Умью в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой». Повергая по три поклона в сопровождении слов: «Боже! очисти мя грешного и помилуй», восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобясь скорее сияющим видениям, чем людям.

Диакон напоминает о начале священнодействия словами: «Благослови, владыко!» И священник начинает словами: «Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков», и приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений, или хлебов-просфор, того хлеба, который должен вначале образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него.

Так как вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой Литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире. Она совершается вся в олтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекла незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы – собрание псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времена дня: час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было сошествие Духа Святаго, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух Свой. Так как нынешнему христианину, по недостатку времени и беспрестанным развлеченьям, не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.

Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом Телом Христовым – средину с печатью, означенной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятьем хлеба от хлеба знаменует изъятье плоти Христа от плоти Девы – рождение Бесплотного во плоти. И, помышляя, что рождается Принесший в жертву Себя за весь мир, соединяет неминуемо мысль о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в напоминание копья, которым было прободено на кресте Тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, – в то время, когда совершилось сие принесение в жертву: то предстоит впереди, в последней части

Литургии; и к сему предстоящему он обращается издали прозревающею мыслию, почему и сопровождает все священнодействие словами пророка Исаии, издали, из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть и возвестившего о том с ясностью непостижимой. Водружая копьё в правую сторону печати, произносит слова Исаии: «как овечка ведётся на заколение»; водрузив копьё потом в левую сторону, произносит: «и как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими его, не отверзает уст своих»; водружая потом копьё в верхнюю сторону печати: «Был осужден за Свое смирение, в смиреньи Его суд Его взятся». Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного Агнца, – слова: «Род же Его кто исповесть?» И приподъемлет потом копьём вырезанную средину хлеба, произнося: «яко вземлетя от земли живот Его»; и начертывает крестовидно, во знамение крестной смерти Его, на нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: «Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской живот и спасение». И, обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца, приносимого в жертву, водружает копьё в правый бок, напоминая, вместе с заколением жертвы, прободение ребра Спасителя, совершенное копьём стоявшего у креста воина; и произносит: «един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его». И слова сии служат вместе с тем знаком диакону ко влитию в Святую Чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: «Господу помолимся!» при всяком его действии, наконец, вливает вина и воды в Чашу, соединив их вместе и испросив благословенья у иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего.

И во исполненье обряда первенствующей Церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда, при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к Его сердцу исполнением Его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминание их, положить на том же дискосе возле того же Святого Хлеба, образующего Самого Господа, так как и сами они пламенели желанием быть повсюду с своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в воспоминанье Пресвятыя Богородицы и кладет ее по правую сторону Святого Хлеба, произнося из псалма Давида: «Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащенны одеяна, преукрашенна». Потом берет третью просфору, в воспоминанье святых, и тем же копьём изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребреников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день; девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все девять изъятых частиц на святой дискос возле Святого Хлеба по левую его сторону. И Христос является среди Своих ближайших, во святых Обитающий зрится видимо среди святых Своих – Бог среди богов, человек посреди человек. И принимая в руки священник четвертую просфору в поминовенье всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовенье всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемя отдельно во имя каждого, о котором его просили, или

во имя которого он сам восхочет изъять. В заключение же всего испрашивает и себе отпущения во всем и также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же Святого Хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца, изображающего Самого Христа, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын Человеческий является среди людей, ради которых Он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупинки на дискос, дабы ничто не пропало из Святого Хлеба, и все бы пошло в утверждение.

И отошедши от жертвенника, поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление Небесного Хлеба на земле, и приветствует его каждением фимиама, благословив прежде кадило и читая над ним молитву: «Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, которое принявши во превышенебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа».

И весь переносится мыслию иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время Небо на землю: Небо стало вертепом, и вертеп – Небом. Обкадив звездицу, две золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над Младенцем, сопровождая словами: «И, пришедши, звезда стала вверху, иде же бе Отроча»; на Святой Хлеб, отделенный на жертвоприношение, – как на новородившегося Младенца; на дискос – как на ясли, в которых лежал Младенец; на покровы – как на пелены, покрывавшие Младенца. И обкадив первый покров, покрывает им Святой Хлеб с дискосом, произнося псалом: «Господь воцарися, в лепоту облещя...» и проч., – псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. И обкадив второй покров, покрывает им Святую Чашу, произнося: «Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля». И взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу вместе, взывая к Богу, да покроет нас кровом крыла Своего. И отошед от предложения, поклоняются оба Святому Хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному Младенцу, и кадит пред вертепом, изображая в сем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с золотом мудрецами.

Диакон же по-прежнему соприсутствует внимательно иерею, то произнося при всяком действии: «Господу помолимся», то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминая ему о молитве, которую следует вознести ко Господу о сих для Него приуготовленных Дарах, словами: «О предложенных Честных Дарах Господу помолимся!» И священник приступает к молитве. Хотя Дары эти не более как приуготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник для себя одну молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоящему приношению Даров. И в таких словах его молитва: «Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас, Сам благослови предложение сие и приими во свышенебесный Твой жертвенник: помяни, как Благой и Человеколюбец, тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих сохранив неосужденными во священнодействии Божественных Тайн Твоих». И творит, вслед за молитвой, отпуст Проскомидии; а диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя о земном рождении Того, Кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе: «во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раю же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный». И выходит из олтаря, с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех, собравшихся на Святую Трапезу Любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных

народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовоения. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное – на Тайную Вечерю, носящую имя Литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги. Кадя и поклоняясь всем равно, и богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному Хозяину, кадит и поклоняется в то же время и образам святых, ибо и они суть гости, пришедшие на Тайную Вечерю: во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и, возвратившись потом в олтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся перед святым престолом.

Став перед святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух – учитель и наставник молитвы: «о чесом бо помолимся, не вемы», говорит апостол Павел: «но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханьи неизглаголаньными». Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения, и священник, и диакон дважды произносят песнь, которую приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа:

«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». И вослед за сей песнью отдергивается церковная занавесь, которая отдергивается только тогда, когда следует подъять мысль молящихся к высшим горним предметам. Здесь отгяты горних дверей знаменует, вослед за песней ангелов, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издали прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят в себе: «Господи! отверзи уста мои – и уста мои возвестят хвалу Твою». Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании Литургии: тремя перстами руки подымлет орарь свой и произносит: «Время сотворить Господу: благослови, владыко!» И благословляет его священник словами: «Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веков». И помышляя диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобыться ангельскому летанью, – от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех в едину душу, и быть, так сказать, святой возбуждающею силою, и чувствуя недостойность свое к такому служению, – молит смиренно иерея: «Помолись обо мне, владыко!» – «Да исправит Господь стопы твоя!» ему отвечает на то иерей. «Помяни меня, владыко святыи!» – «Да помянет тебя Господь во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков». Тихо и ободренным гласом диакон произносит: «аминь», и выходит из олтаря северной дверью к народу. И, взошед на амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: «Господи, отверзи уста моя – и уста моя возвестят хвалу Тебе»; и, обратившись к олтарю, взывает еще раз к иерею: «Благослови, владыко!» Из глубины святилища возглашает на то иерей: «Благословенно Царство...», и Литургия начинается.

Литургия оглашенных

Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных. Как первая часть, Проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его рождению, открытому только ангелам да немногим людям, Его младенчеству и пребыванию в сокровенной неизвестности до времени появления в мир, – так вторая соответствует Его жизни в мире посреди людей, которых огласил Он словом истины. Называется она Литургией оглашенных еще потому, что в первоначальные времена христиан к ней допускались и те, которые только готовились быть христианами, еще не приняли св. Крещения и находились в числе оглашенных. Притом самый образ ее священнодействий, состоя из чтений пророков, Апостола и Св. Евангелия, есть уже преимущественно огласительный.

Иерей начинает Литургию возгласением из глубины олтаря: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа...» Так как чрез воплощение Сына стало миру очевидно ясно Таинство Троицы, то по этому самому троичное возгласение предшествует и предсидает начинанию всяких действий, и молящийся, отрешившись от всего, должен с первого разу поставить себя в Царстве Троицы.

Стоя на амвоне, лицом к царским вратам, изображая в себе ангела, побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами десная руки узкое лентие, – подобие ангельского крыла, – диакон призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми молитвами, которыми неизменно от апостольских времен молится Церковь, начиная с моления о мире, без которого нельзя молиться. Собрание молящихся, знаменуясь крестом, стремясь обратить свои сердца в согласно настроенные струны органа, по которым должно ударять всякое воззвание диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: «Господи, помилуй!»

Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изображающий поднятое крыло ангела, стремящего людей к молитве, призывает диакон молиться: о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех; о святом храме и о входящих в него с верой, благоговением и страхом; о государе, синоде, начальствах, духовных и гражданских, палатах, воинстве, о граде, об обители, в которой служится Литургия, о благорастворении воздухов, об обилии плодов земных, о временах мирных; о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их; о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды. И, собирая все сею всеобъемлющею цепью молений, называемую великой ектенией, на всякое ее отдельное призыванье, собрание молящихся восклицает вместе с хором поющих: «Господи, помилуй!»

В знаменованье бессилья наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон, – вспомня о тех, которые умели лучше нашего молиться, – предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. В желаньи искреннем предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это сделать вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, взывает вся церковь совокупно с ликом: «Тебе, Господи!» Цепь молений завершает диакон троичным славословием, которое, как вседержащая нить, проходит сквозь всю Литургию, начиная и оканчивая всякое ее действие. Собрание молящихся ответствует утвердительным: «Аминь: Буди! да будет!» Диакон сходит с амвона; начинается пенье антифонов.

Антифоны, – противугласники, песни, выбранные из псалмов, пророчески изображающие пришествие в мир Сына Божия, – поются попеременно обоими ликами на обоих крылосах; они заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные.

Пока продолжается пенье первого антифона, священник молится в олтаре внутренней молитвой; а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, подняв орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пенье первого антифона, восходит он снова на

амвон призывать собрание молящихся словами: «Вновь и вновь Господу помолимся!» Собрание молящихся восклицает: «Господи, помилуй!» Обратив взоры к ликам святых, диакон наминает вспомнить вновь Богородицу и всех святых, предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь Христу Богу. Собрание восклицает: «Тебе, Господи!» Троичным славословием заключает он. Утвердительный «аминь» изглашает вся церковь. Следует пение второго антифона.

В продолжение второго антифона священник в олтаре молится внутренней молитвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконой Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончании же пения, восходит он снова на амвон и обращается к ликам святых, призывая, как прежде, словами: «В мире Господу помолимся!» Собрание восклицает: «Господи, помилуй!» Диакон взывает: «Заступи, помилуй, спаси и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». Собрание восклицает: «Господи, помилуй!» Возведя глаза к ликам святых, диакон продолжает: «Пресвятую, Пречистую, Преподобную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Собрание восклицает: «Тебе, Господи!» Троичным славословием оканчивается моление; утвердительным «аминь» отвечает вся церковь; диакон сходит с амвона. А священник в закрытом олтаре молится внутренней молитвой; она – в сих словах: «Ты, даровавший нам сии общие и согласные молитвы! Ты, обещавший двум и трем, собравшимся во имя Твое, подать прошения! исполни же теперь к полезному прошения рабов Твоих: подай в настоящем веке познание Твоей истины, а в будущем даруй Вечную Жизнь!»

С крылоса громко возглашаются во всеуслышание блаженства, возвестившие в настоящем веке познание истины, а в будущем Вечную Жизнь. Собрание молящихся, взывая воззванием благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте: «Во Царствии Твоем помяни нас. Господи, егда приидеши во Царствии Твоем», повторяет вслед за чтецом сии слова Спасителя:

«Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное» – не гордящиеся, не возносящиеся умом.

«Блаженны плачущие, яко тии утешатся» – плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им наносимых.

«Блаженны кроткие, яко тии наследят землю» – не питающие гнева ни противу кого, всепрощающие, любящие, которых оружие – всепобеждающая кротость.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся» – алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе.

«Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут» – состраждущие о каждом брате, в каждом просящем видящие Самого Христа, за него просящего.

«Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят» – как в чистом зеркале успокоенных вод, не возмущаемых ни песком, ни тиной, отражается чисто небесный свод, так и в зеркале чистого сердца, не возмущаемого страстями, уже нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один.

«Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся» – подобно Самому Сыну Божию, сходявшему на землю затем, чтобы внести мир в наши души: так и вносящие мир и примирение в дома – истинные Божьи сыны.

«Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное» – изгнанные за возвешение правды не одними устами, но благоуханьем леей своей жизни.

«Блаженны есте, егда поносят вас и изженут и рекут всяк зол глагол на вы, лжущие Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша много, на небесах» – много, ибо заслуга их троекратна: первая – что уже сами по себе они были невинны и чисты; вторая – что, быв чисты, были оклеветаны; третья – что, быв оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.

Собрание молящихся слезно повторяет вслед за чтением сии слова Спасителя, возвестившего, кому можно ждать и надеяться на Вечную Жизнь в Будущем Веке, которые суть истинные цари мира, сонаследники и соучастники Небесного Царства.

Здесь торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селенье Божией славы и верховное училище, отколе исходит к нам познание истины и возвещается Вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не царскими вратами, но позади алтаря боковой дверью, напоминающею дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.

Собрание молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди: исходит он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище царскими вратами. Служители Божьи посреди храма останавливаются; оба преклоняют главы. Иерей молится внутреннею молитвой, чтобы Установивший на небесах воинства ангелов и чины небесные в служенье славы Своей повелел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить вместе с ними вшествие во святилище. А диакон, указывая молитвенным орарем на царские двери, говорит ему: «Благослови, владыко, святой вход!» – «Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!» возглашает на это иерей. Дав поцеловать ему Святое Евангелие, диакон несет его в алтарь; но в царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает: «Премудрость!», знаменуя сим, что Слово Божье, Его сын. Его Вечная Премудрость благовестилась миру чрез Евангелие, которое он теперь возвысил в своих руках. И вслед затем возглашает: «Прости!», т.е. воспряньте, воздвигнитесь от лени, от небрежного стоянья. Собрание молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу! Спаси нас, Сыне Божий, Тебе поющих: Аллилуйя!» В еврейском слове аллилуйя выражается: «Господь идет, хвалите Господа»; но так как, по существу священного языка, в слове: идет сокрыто и настоящее и будущее, то есть: идет пришедший и вновь грядущий, то, знаменуя вечное хождение Божие, это слово *аллилуйя* сопутствует всякий раз тем священнодействиям, когда Сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле. На крылосах раздаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь за то, что он уподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах, и что живым примером собственной жизни показал, как взлетать вслед за ним в Жизнь Вечную.

По окончаньи тропарей наступает время Трисвятого пения. Испросив на него у иерея благословения, диакон показывается в царских дверях и, поводя орарем, подает знак певцам. Торжественно-громогласно оглашает всю церковь Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании к Богу: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!» Воззванием: «Святой Боже» возвещает Трисвятая песнь Бога Отца; воззванием: «Святой Крепкий» – Бога Сына: Его крепость, Его создающее Слово; воззванием «Святой Бессмертный» – Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно певцы поднимают сие пение, чтобы звучало вслух всем, что с вечным пребываньем Бога пребывало в Нем вечное пребыванье Троицы, и не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слово Его оскудевало Дух Святой. «Словом Божьим небеса создашася, и духом уст Его вся сила их», говорит пророк Давид. Каждый из собрания, сознавая, что и в нем, как в подобьи Божьем, есть та же троинственность, есть Он Сам, Его Слово и Его Дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего, а дух его принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений и только по возвышены! его самого к Богу то и другое приходит в нем в силу: в слове отражается Божье Слово, в духе –

Дух Божий, и образ Троицы Создавшего отпечатлевается в создании, и создание становится подобным Создателю, – сознавая все сие, каждый, внемлющий Трисвятому пению, молится внутренне в себе, чтобы Бог Святой, Крепкий и Бессмертный, очистив его всего, избрал его Своим храмом и пребываньем, и три раза повторяет в себе: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!» Священник в олтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Трисвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный!» И, подобно ему, повторив в себе три раза ту же Трисвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом.

И, сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятая Троицы, как бы в то возвышеннейшее, всюду носящее место, где Сын пребывает в лоне Отчем единством Духа Святаго. И восхождением своим изобразует иерей восхождение Самого Христа вместе с плотью в лоно Отчее, призывающее человека вослед стремиться в лоно Отчее, – возрождение, прозрелое издали пророком Даниилом, который видел в высоком видении своем, как Сын Человеческий дошел даже до Ветхаго деньми. Иерей идет нетрепетной стопой, произнося: «Благословен грядый во имя Господне», и на призвание диакона: «Благослови, владыко, горний престол», благословляет его, произнося: «Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веков». И садится на горнем месте возле седалища, назначенного для архиерея. Отселе, как Божий апостол и его наместник, обратись лицом к народу, приготавливает он вниманье к слушанью наступающего чтения апостольских посланий, – сидящий, изобразуя самим сиденьем своим свое равенство апостолам.

Чтец, с Апостолом в руке, выходит на середину храма. Воззванием: «*вонмем!*» призывает диакон всех предстоящих ко вниманью. Священник посылает из глубины олтаря и чтецу, и предстоящим желание мира; собранье молящихся ответствует священнику тем же. Но так как служенье его должно быть духовно, подобно служенью апостолов, которые глаголали не свои слова, но Сам Дух Святой двигал их устами, то не говорят: «мир тебе», но: «духови твоему». Диакон возглашает: «Премудрость!» Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец; прилежно, сердцем приемлющим, душою ищущею, разумом, испытующим внутренний смысл читаемого, внемлет собранье, ибо чтение Апостола служит ступенью и лестницей к лучшему уразумлению чтения евангельского. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из олтаря: «мир тебе». Лик ответствует: «и духови твоему». Диакон возглашает: «Премудрость!» Лик гремит: «аллилуйя», возвещающее приближение Господа, идущего говорить народу устами Евангелия.

С кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем храм, навстречу идущего Господа, напоминая кажденьем о духовном очищении душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словам Евангелия. Священник в олтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет Божественного благоразумия, и отверзлись бы наши мысленные очи в уразумение евангельских проповеданий. О воссиянии того же света в сердцах своих молится внутренне собранье, приготавливаясь к слушанью. Испросив благословения от иерея, получа от него в напутствие: «Бог молитвами всесвятаго, всехвальнаго апостола и евангелиста [именуется его имя], да даст тебе глагол благовествующему силою мною, во исполнение Евангелия, Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа», диакон восходит на амвон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов. Священник в олтаре возглашает к собранью: «Премудрость! Прости, услышим Святаго Евангелия! Мир всем!» Лик ответствует: «и духови твоему». Диакон начинает чтение.

Благоговейно преклонив главы, как бы внимая Самому Христу, говорящему с амвона, все стараются принять сердцами семя Святого Слова, которое устами служителя сеет Сам Сеятель Небесный, – не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути, на которую хоть

и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами – налетающими злыми помышлениями; – не теми также сердцами, которых уподобляет Он каменистой почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, но слово не водружает глубоко корня, ибо нет глубины сердечной; – и не теми также сердцами, которые уподобляет Он неочищенной земле, глушимой тернием, на который хоть и дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе с ними терния, – терния трудов и забот века, терния обольщений, бесчисленные обаяния светской умерщвляющей жизни с ее обманчивыми удобствами, заглушают едва поднявшиеся всходы – и семя остается без плода; – но теми приемлющими сердцами, которых уподобляет Он доброй почве, дающей плод – ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят, – которые все, принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновеньях, в увеселеньях, с людьми в беседах и наедине с самим собою. Словом, всяк верный стремится быть тем, и слушающим и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени, так что, если бы тут же, по выходе из церкви набежали на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы неподвижная, как твердыня на камени. По окончании чтенья священник в олтаре возвещает диакону: «Мир тебе благовествующему». Приподымая главы, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают вместе с ликом: «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!» Стоящий в царских дверях священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол, как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратившееся. Олтарь, изображающий высшие горния селенья, скрывается от глаз – врата царские затворяются, горняя дверь задерживается, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме отверстых Христом, что с Ним только можно войти в них: «Аз есмь дверь».

Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди; следовали изъясненье и толкованье прочитанных Евангелий. Но так как проповедь в нынешнее время говорится большею частию на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной Литургии, она отнесена к концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей к молениям, диакон идет на амвон воздвигнуть собранье к молениям еще сильнейшим и прилежнейшим. «Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем!» взывает он, подъемля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя моления от всех помышлений, все восклицают: «Господи, помилуй!» Усугубляя моления троекратным воззваньем о помиловании, диакон призывает сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и должностей, начиная с высших, где трудней человеку, где ему больше преткновений и где ему нужней помощь от Бога. Каждый из собрания, зная, как много благоденствие многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои обязанности, молится сильно о том, чтобы Бог их вразумил и наставил исполнять честно свое званье и всякому подал бы силы пройти честно свое земное поприще. О сем молятся все прилежно, произнеся уже не один раз: «Господи, помилуй!» но три раза. Вся цепь этих молений называется сугубой ектенией, или ектенией прилежного моления, и священник в олтаре перед престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его называется молитвой прилежного моления.

И если в тот день случится какое-либо приношение об усопших, тогда вослед за сугубой ектенией возглашается ектения об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призывает диакон молиться об успокоеньи душ Божиих рабов, которых всех называет по именам, чтобы Бог простил им всякое прегрешение, вольное и невольное, чтобы водворил их души там, где праведные успокоются. Тут всякий из предстоящих припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит в себе три раза на всякое воззвание диакона: «Господи, помилуй!», молясь прилежно и о своих, и о всех почивших христианах. «Милости Божией», восклицает диакон: «Небеснаго Царствия и оставления грехов их у Христа, Бессмертного Царя и

Бога нашего, просим!» Собрание вызывает с хором поющих: «Поддай, Господи!» А священник молится в олтаре, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоил Сам души усопших рабов Своих в месте злочном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений, возглашает громко: «Яко Ты еси воскресение, и жизнь, и покой усопших рабов Твоих, Христе, Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков». Утвердительным «аминь» отвечает лик. Диакон начинает эктению об оглашенных.

Хотя и редко бывают теперь не принявшие святого Крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой и делами от верных, удаивавшихся соприсутствовать Трапезе Любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его верование, и нет огня всепрощающей любви к брату, поядающей душевную черствость, и что крещеный водой во имя Христа, он не достигнул того возрождения в духе, без которого ничтожно его христианство, по слову Самого Спасителя: «кто не родится свыше, не внидет в Царствие Небесное», – соображая все сие, всякий из присутствующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных, и на призвание диакона: «Помолитесь, оглашенные, Господу!» от глубины сердца взывает: «Господи, помилуй!»

«Верные!» – взывает диакон: «помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их Своей Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их Своею благодатью!»

И верные, чувствующие, как мало они стоят названия Верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе и на всякое отдельное призвание диакона восклицают внутренне вслед за поющим ликом: «Господи, помилуй!» Диакон взывает: «Оглашенные, главы ваши Господу преклоните!» Все преклоняют свои главы, восклицая внутренне в сердцах: «Тебе, Господи!»

Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смирение души поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в сих словах: «Господи Боже наш, живущий на высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасение человеческому роду – Своего Сына, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа! возри на оглашенных рабов Твоих, подклонивших Тебе свои выи! Приобщи их Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вместе с нами пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков». Лик гремит «аминь». А в напоминание, что наступила минута, в которую древле выводились из церкви оглашенные, диакон возглашает громко: «Оглашенные, изыдите!» И вслед за тем, возвысив голос, возглашает в другой раз: «Оглашенные, изыдите!» И потом в третий раз: «Оглашенные, изыдите! да никто от оглашенных, одни только верные, вновь и вновь Господу помолимся!»

От слов этих содрогаются все, чувствующие свое недостойство. Взывая мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей, обративших в торжище Его святыню, каждый предстоящий старается изгнать из храма души своей оглашенного, неготового присутствовать при святыне, и взывает к Самому Христу, чтобы воздвигнул в нем верного, причисленного к избранному стаду, о котором сказал Апостол: «Язык свят, люди обновления, камень, зиждущееся в храм духовен», – причисленного к тем истинно верным, которые присутствовали при Литургии в первые века христиан, которых лики глядят теперь на него с иконостаса. И, объемля их всех взорами, призывает их на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, ибо предстоят священнейшие действия – начинается *Литургия верных*.

Литургия верных

В закрытом олтаре иерей распростирает на святом престоле антиминос, вместипрестолие, – плат с изображеньем Тела Спасителя, на котором должны быть постановлены приуготовленные им на Проскомидии Святой Хлеб и Чаша, исполненная вина и воды, и которые с бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно в виду всех верных. Распростерши антиминос, – напоминающий время гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и, не могши переносить с собою престола, стала употреблять сей плат с частицами мощей, и который остался как бы в возвешенье, что и ныне не прикрепляется она ни к какому исключительному зданию, городу или месту, но, как корабль, носится поверх волн сего мира, не водружая нигде своего якоря: ее якорь на небесах, – распростерши сей антиминос, он приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый раз и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение: ибо в первоначальное время у христиан только теперь открывался престол, доселе остававшийся закрытым и занавешенным по причине присутствия оглашенных, и только теперь начинались настоящие моления верных. Еще в закрытом олтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстоянии святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести. А диакон, стоя на амвоне посреди церкви, изображая ангела, побудителя к молитвам, держа орарь тремя перстами, призывает всех верных к тем же молениям, какими начиналась Литургия оглашенных.

И также стараясь о приведении своих сердец в согласное настроение мира, теперь еще необходимейшего, все верные взывают: «Господи, помилуй!» и еще сильнее молятся о свышнем мире и о спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Божьих Церквей и соединении всех, о святом храме сем и о входящих в него с верою, благоговеньем и страхом Божиим, о том, чтобы избавиться от всякие скорби, гнева и нужды. И взывают еще сильнее в сердцах своих: «Господи, помилуй!»

Иерей из глубины олтаря возглашает: «Премудрость!», знаменуя сим, что Та же Самая Премудрость, Тот же Вечный Сын, исходивший в виде Евангелия сеять Слово, учившее жить, перенесется теперь в виде Святого Хлеба принестись в жертву за весь мир. Воздвигнутые сим напоминанием, все предстоящие устремляют мысли, приготавливаются к предстанущим священнейшим священнодействиям и служениям. Иерей литургисающий втайне молится, припадая к престолу, сею возвышенной молитвой: «Никто из связавшихся чувственными пожеланьями и наслажденьями недостойн приступать к Тебе, или приближаться, или служить Тебе, Царю Славы: ибо служенье Тебе велико и страшно и самим силам небесным. Но так как, по безмерному Своему человеколюбию. Ты непреложно и неизменно был человек, Сам был архиерей и Сам передал нам священнодействие сея служебныя и бескровныя жертвы, как Владыка всех, – ибо Ты один, Боже, владычествуешь и небесными, и земными, – носимый херувимски на престоле, Господь серафимов и Царь Израилев, Единый Свят и во святых почивающий, то молю Тебя, Единаго Благаго, воззри на меня, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, очисти мою душу и сердце от совести лукавыя и удовли меня, облеченнаго благодатью священства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа предстать Святой Твоей Трапезе и священнодействовать Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь! К Тебе же прихожу, преклоня мою выю, и молюсь Тебе: да не отвратишь лица Твоего от меня, ниже отринешь меня от отроков Твоих; но сподоби принестись Тебе, посредством меня недостойнаго, сим Дарам Твоим: ибо Ты оси и приносящий, и приносимый, и приемлющий, И раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков».

Царские врата разверзаются на середине молитвы, так что иерей зрится еще молящийся с распростертыми руками. Диакон с кадильницею в руке исходит уготовить путь Царю всех, и, обильно распространяемым куреньем подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется Носимый херувимами, напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред Господом – напоминает о том, чтобы все, будучи благоуханьем Христовым, по слову Апостола, они вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия Господа. А лики на обоих клиросах поднимают от лица всей церкви сию Херувимскую песнь: «Мы, тайно изображающие херувимов и воспевающие Трисвятую песнь Животворящей Троице, отложим ныне всякое попеченье, да Царя всех подыдем, невидимо копыеносимаго ангельскими чинми».

Был у древних римлян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровождении легионов войск на щите под осененьем множества наклоненных над ним копий. Песню эту сложил сам император, упавший в прах со всем своим земным величием пред величием Царя всех, копыеносимаго херувимами и легионами небесных сил: в первоначальные времена сами императоры смиренно становились в ряды служителей при выносе Святого Хлеба.

Пень сей песни устраивается ангельским, подобное тому, как в вышине пели незримые силы. Иереи и диакон, повторяя внутренне в себе ту же Херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась Проскомидия. Приступивши к Дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: «Возьми, владыко!» Иерей снимает воздух и возлагает ему на левое плечо, и глаголет: «Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа». Потом берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона; а сам берет Святую Чашу и, предходящему светильнику или лампаде, выходит боковой, или северной, дверью к пароду. Если же служенье совершается собором, при множестве иереев и диаконов, то один несет дискос, другой – Чашу, третий – святую ложку, которою приобщаются, четвертый – копье, прободшее св. Тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупичи Святого Хлеба на дискос и которая образует ту губу, омоченную в уксус и желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пении Херувимской песни, подобясь небесным силам, выступает сей торжественный ход, называемый Великим Выходом.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы копьями несчетных невидимых воинств и чиновачий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к Нему на кресте: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем». Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священней достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасенье душ их – заключая словами: «Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, и присно, и во веки веков». Певцы оканчивают Херувимскую песнь троекратным пеньем: «Аллилуйя», возвещающим вечное хождение Господне. Ход вступает в царские врата. Впереди всех вшедший в олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: «Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем». Священник отвечает ему: «Да помянет Господь Бог священно-диаконство твое во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков!» И поставляет Святую Чашу и Хлеб, представляющий Тело Христово, на престол, как бы на гроб. Врата царские затворяются, как бы двери гроба Господня; занавесь за ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал Тело Спасителя со креста, поставляет его на расстланный антиминс, как бы на плащаницу, и сопровождает сие действие словами: «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьями во гробе нове закрыв, положи». И, вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним во гробе, говорит в себе: «Во

гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с разбойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос, все Собою исполняяй, неописанный!» И, вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит: «Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлейший всякого царского чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник всякого Воскресенья». И, снявши покров от дискаса и от Чаши и воздух с плеча диакона, изображающий теперь уже не пелены, в которые повит был Иисус Младенец, но сударь и гробовые покровы, в которые повито было Его мертвое Тело, обкадив их фимиамом, покрывает он ими снова дискас и Чашу, произнося: «Благообразный Иосиф, сняв со древа Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьями во гробе ново закрыв, положи». Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит Святые Дары, поклоняясь пред ними три раза и готовясь к предстоящему жертвоприношению, говорит в себе словами пророка Давида: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския: тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы»: ибо, пока Сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести Ему ни жертв, ни всесожжения, и не поднимется кверху пламень духовного моленья, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и вьюгой возмущенья душевного. Молясь об очищеньи своем для предстоящего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону, опустив фелонь и преклонив главу, говорит он ему: «Помяни меня, брат и сослужитель!» – «Да помянет Господь Бог твое священство во Царствии Своем!» – отвечает диакон и в свою очередь, помышляя о недостойности своем, преклоняет главу и, держа орарь в руке, говорит ему: «Помолись о мне, владыко святой!» Священник ему отвечает: «Дух Святой найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя». – «Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего». И, полный сознания своего недостойности, диакон присовокупляет: «Помяни мя, владыко святой!» Священник ему: «Да помянет тебя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков». Диакон, произнесши: «аминь» и поцеловав ему руку, исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и постановленных на престол Святых Дарах.

Взошед на амвон, лицом к царским дверям, подняв орарь тремя перстами руки, в подобье поднятого крыла ангела, побудителя к молитве, возносит он цепь молений, уже непохожих на прежние. Начинаясь призыванием к моленью о перенесенных на престол Дарах, они скоро переходят в те прошения, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу.

«Дня всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим», – взывает диакон.

Собранье молящихся, соединяясь с хором поющих, взывает от сердец: «Поддай, Господи!»

«Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим».

Собранье: «Поддай, Господи!»

«Прощенья и оставленья грехов и прегрешений наших у Господа просим».

Собранье: «Поддай, Господи!»

«Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим».

Собранье: «Поддай, Господи!»

«Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим».

Собранье: «Поддай, Господи!»

«Христианский кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа на Страшном Судище Христово просим».

Собранье: «Поддай, Господи!»

«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».

И в истинном желаньи подобно предать самих себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: «Тебе, Господи!»

Эктения завершается возгласием: «Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков».

Лик гремит: «Аминь».

Олтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвоприношению: еще много долженствующего предшествовать Тайной Вечери. Из глубины олтаря посылает он приветствие Самого Спасителя: «Мир всем!» Ему ответ: «И духу твоему». Стоя на амвоне, диакон, как было у первых христиан, призывает всех ко взаимной любви словами: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедаем...» Окончанье признанья подхватывает лик поющих: «Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную», возвещая, что, не полюбивши Друг друга, нельзя полюбить Того, Кто весь одна любовь, полная, совершенная, содержащая в Своей Троице и любящего и любимого, и самое действие любви, которую любящий любит любимого: любящий – Бог Отец, любимый – Бог Сын, и сама любовь. Их связующая – Бог Дух Святой. Три раза поклоняется священник в олтаре, произнося в себе тайно: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь утвержденье мое и прибежище мое», и целует покрытые покровами святой дискос и Святую Чашу, целует край святой трапезы и, сколько бы ни случилось священников, с ним сослужащих, каждый делает то же, и потом все целуют друг друга. Главный говорит: «Христос посреди нас». Ему отвечают: «И есть, и будет». Диаконы также, сколько бы их ни случилось, целуют каждый вначале свой орарь в том месте, где на нем изображенье креста, потом друг друга, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга, мужи – мужей, жены – жен, произнося: «Христос посреди нас», и тут же ответствуй: «и есть, и будет»; а потому и теперь всякий предстоящий, собирая мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, спеша примириться с теми, против которых питал какую-нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствие, – всем им спешит дать мысленно лобзанье, говоря внутренне: «Христос посреди нас» и отвечая за них: «И есть, и будет»: ибо без этого он будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову Самого Христа: «Остави дар свой и шед прежде примиришься с своим братом и тогда принеси жертву Богу»; и в другом месте: «Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо нелюбяй брата своего, егоже виде, како может любить Бога, Егоже не видя?»

Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим, держа орарь тремя перстами, произносит диакон древнее возгласие: «Двери! Двери!», древле обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевших обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь, ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушес отверзли бы к слышанью Символа Веры, во знаменованье чего и отдергивается завеса над царскими дверями, или горняя двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить вниманье ума к Таинствам высшим. А диакон призывает к слышанью словами: «Премудростию вондем». Певцы твердым мужественным пеньем, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». И сохранив миг отдохновенья, чтобы отделилось в мыслях у всех первое лицо Св. Троицы – Бог Отец, продолжают, возвышая голос: «И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, И же от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго

со славою судити живым и мертвым. Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки». И сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех третье лицо Св. Троицы – Бог Дух Святой, продолжает: «Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь».

Твердым, мужественным пеньем, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы: твердо повторяет каждый вслед за ними слова Символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить Святую Трапезу, повторяет в себе Символ Веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, колебля святой воздух над Св. Дарами.

И твердой стопой исходит диакон и возглашает: «Станем добре, станем со страхом, вонем, святое возношение в мире приносить», т.е. станем, как прилично человеку предстать перед Бога, с трепетом, с страхом и в то же время с мужественным дерзновением духа, славословящего Бога, с восстановившимся согласием мира в сердцах, без которого нельзя вознестись к Богу. И в ответ на призыв вся церковь, принося в жертву хваленье уст и умягченное состоянье сердец, повторяет вслед за хором певцов: «Милость мира, жертву хваления». В первоначальной Церкви было в обычае приносить в это время елей, знаменующий всякое умягчение. Елей и милость в греческом языке тождественны.

Священник в олтаре снимает между тем воздух со Святых Даров, целует его и кладет на сторону, произнося: «Благодать Господа...» А диакон, взошедши в олтарь и взявши в руки веяло, или рипиду, веет ею благоговейно над Дарами.

Приступая к совершению Тайной Вечери, иерей посылает из олтаря к народу сие благовествующее возглашение: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами!» И отвечают ему на то все: «и со духом твоим!» И олтарь, изображавший вертеп, теперь уже горница, в которой была уготована Вечеря. Престол, представляющий гроб, теперь уже трапеза, а не гроб. Напоминая о Спасителе, возведшем очи горе перед тем, как преподать Божественную пищу ученикам, священник возглашает: «Горе имеем сердца!» И каждый из стоящих во храме помышляет о том, что имеет совершиться, – что в эту минуту Божественный Агнец идет за него заклаться, Божественная Кровь Самого Господа вливается в Чашу, в его очищение, и все небесныя силы, соединяясь с иереем, о нем молятся, – помышляя о том, стремя свое сердце от земли к Небу, от тьмы к свету, восклицает вослед за всеми: «Имамы ко Господу».

Напоминая о Спасителе благодарившем, по возведении очей горе возглашает иерей: «Благодарим Господа». Лик отвечает: «Достойно и праведно есть поклониться Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной». А священник молится втайне: «Достойно и праведно есть Тебя воспевать, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты еси Бог неизреченен, неведом, невидим, непостижим, присно сый, такожде сый Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадшия вновь восстановил нас и не отступил еси, вся творя, дондеже на Небо нас возвел еси, и даровал нам Твое Будущее Царство. О сих всех благодарим Тебя, и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, которые знаем и которых не знаем, о явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и о службе сей, которую из рук наших прияти изволил еси, хотя и предстоят Тебе тысящи архангелов, и тмы ангелов, херувими и серафими шестокрылатые, многоочитые возвышающиеся пернатые, победную песню поюще, вопиюще, зывающе и глаголюще: „Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоя!“

Эту победную Серафимскую песнь, которую слышали в святых виденьях своих пророки, подхватывает весь лик певцов, унося мысли молящихся к незримым небесам и заставляя их

вместе с серафимами повторять: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», и облетая вместе с серафимами престол Божественной славы. И так как в то же время вся церковь ожидает в эти минуты сошествия Самого Бога, грядущего принестись в жертву за всех, то к Серафимской песне, раздающейся в небесах, присоединяется песнь еврейских отроков, которую они встретили вшествие Его во Иерусалим, подстилая ветви по пути: «Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних!» Ибо Господь взойти готовится во храм, как в таинственный Иерусалим. Диакон продолжает веять веялом над Святыми Дарами, чтобы не могло упасть туда какое насекомое, изображая веяньем движенье благодати; а священник продолжает молиться втайне: «С сими блаженными силами, Владыко Человеколюбче, и мы вопием и глаголем: Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, яко же Сына Твоего Единороднаго дати, да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имать Живот Вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в которую был предан, или, лучше, Сам Себя предал за жизнь мира, взявши хлеб в святые Свои, пречистые, непорочные руки, благодарив, благословив, освятив, преломив и давши святым своим ученикам и апостолам, сказал...» и громко возглашает иерей слова Спасителя: «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». И вся церковь вослед за ликом возглашает «аминь». А диакон, держа орарь, указывает священнику на святой дискос, на котором положен Хлеб. Священник продолжает втайне: «Подобно и Чашу по вечере, глаголи...» и также, по указанию диакона на Чашу, возглашает громко: «Пиите от нея вси. Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов». И также громко возглашает вся церковь «аминь».

Священник продолжает молиться втайне: «И так воспоминаю сию спасительную заповедь и все о нас бывшее: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное пришествие вновь» – и, произнеся это в себе, возглашает громко: «Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся». Отложив рипиду, диакон приподымает святой дискос и святой потир – алтарь уже не горница Тайны Вечери, престол не трапеза: он уже теперь жертвенник, на котором приносится страшная жертва за весь мир – Голгофа, на которой совершилось закленье Божественной Жертвы. Эта минута есть минута и жертвоприношенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу. Поклоненье отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но жертву – единому Творцу. Она не прекращалась от самого создания мира и в каком бы виде ни приносилась, требовалась не самая жертва, но дух сокрушен, с которым она приносилась. Поэтому, всякий из предстоящих, вспомни, что в эту минуту священник, презрев все дальнее, оставивши все помыслы, все мысли о земном, подобно как Авраам, который, когда восходил на горы принести жертву, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши с собой только дрова горького исповеданья прегрешений своих и сжегши их огнем раскаянья душевного, огнем и мечом духа заколовши в себе всякое желанье земных стяжаний и блага земного. Но что пред Богом все наши жертвы, когда Он гласит устами пророка: «яко порт нечист вся дела ваша?» В глубоком сознании, что нет Богу на земле ничего достойного жертвы, каждый из предстоящих обращается мысленно к той же Чаше, которую в олтаре подымлет служитель олтаря, и восклицает во глубине сердца своего: «Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся». Лик поет: «Тебе поем. Тебе благодарим. Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш!»

И наступает верховнейшая минута всей Литургии: пресуществление. В олтаре происходит троекратное призыванье Святаго Духа на Святые Дары, – Того Самого Святаго Духа, которым совершилось воплощенье Христово от Девы, Его смерть, Воскресенье и без Котораго не может пресуществиться хлеб и вино в Тело и Кровь Христову.

Упав ниц пред св. престолом, священник и диакон творят троекратно земные поклоны, произнося в себе: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся». И каждый вослед за

сим призываением произносит в себе стих: «Сердце чисто созижди во мне. Боже, и дух прав обнови во утробе моей». И во второй раз то же призывание: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся»; вслед за тем стих: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене». И в третий раз призывание: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Своим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся». Подклонив главу, диакон указывает орарем на Святой Хлеб, произнося в себе: «Благослови, владыко, Святой Хлеб»; и знаменует его трижды иерей, глаголя: «И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего». Диакон произносит: «аминь». И Хлеб уже есть самое Тело Христа. И так же безмолвно указывает диакон орарем на Святую Чашу, произнося в себе: «Благослови, владыко, Святую Чашу». И, благословляя, глаголет священник: «А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего». Диакон произносит: «аминь» и, указав на обоя святая, глаголет: «Благослови, владыко, обоя». Благословив, произносит священник: «Преложив Духом Твоим Святым»; троекратно произносит диакон: «аминь» – и на престоле уже Тело и Кровь: пресуществление совершилось! Словом вызвано Вечное Слово. Иерей, имея глагол наместо меча, совершил закланье. Кто бы он ни был сам, – Петр или Иван, – но в его лице Сам Вечный Архиерей совершил сие закланье, и вечно совершает Он его в лице Своих иереев, как по слову: «да будет свет», свет сияет вечно; как по слову: «да произрастит земля былие травное», произращает его вечно земля. На престоле – не образ, не вид, но самое Тело Господне, – то самое Тело, которое страдало на земле, терпело заушенья, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку и что Сам Господь сказал: «Аз есмь хлеб».

Церковный звон подымается с колокольной возвестить всем о великой минуте, чтобы человек, где бы он в это время ни находился, – в пути ли, в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в дому своем, или занят другим делом, или томится на одре болезни, или в тюремных стенах, словом, – где бы он ни был, чтобы он мог отовсюду вознести моление и от себя в эту страшную минуту. Все повергается ниц в виду Тела и Крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!»

Подклонив главу священнику, диакон произносит: «Помяни мя, святой владыко!» Ему отвечает священник: «Помянет тебя Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков». И приступает священник к поминанию всех пред лицом Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, в том виде и порядке, как вспоминались все на Проскомидии, начиная с Богопресвятой, Пречистой Матери Господа, Которую тут же вся церковь ублажает, вместе с ликом, хвалебною песнью, как Предстательницу за весь род человеческий, как единственную удостоившуюся, за высокое смирение свое, понести в себе Бога, – чтобы каждый в эту минуту слышал, что высшая добродетель – смирение, и в сердце смиренного воплощается Бог. И вослед за Божиею Материю вспоминаются пророки. Апостолы, отцы Церкви в том же порядке, как изнимались за них части на Проскомидии; потом – все усопшие, которых помянник читает диакон, потом живущие, начиная с тех, на которых возложены важнейшие обязанности и высшие, – с право правящих слово истины духовных и светских чинов, от государя: да пособит ему Господь на трудном его поприще во всяком деле общего добра, и да в союзном стремлении ко благу отвечает ему весь государственный корабль управления, палата власти, воинства, исполняя честно долг, «да и мы, в тишине их, тихое и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте». И о всех предстоящих христианах до единого молится в это время иерей, чтобы Милостивый на всех излил Свои милости, сокровища их исполнил блага, супружества их соблюл бы в единомыслии и мире, младенцев воспитал бы, юность наставил, старость поддержал, малодушных утешил, расточенных собрал, прельщенных обратил и совокупил Святой Своей Соборной и Апостольской Церкви. И обо всех до последнего христианина в это время молится смиренно иерей, где бы такой христианин

нин ни находился – в пути ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в недуге, томится ли в заточеньи, в рудах и пропастях земли. Обо всех до едины молится в это время вся церковь, и каждый из предстоящих, сверх этого общего моления обо всех, молится еще о всех своих, близких своему сердцу, всех их поименовывая пред лицом Тела и Крови Господней. И возглашает громко священник из олтаря: «И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков». Утвердительно «аминь» отвечает церковь. Священник возглашает: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами!» Ему отвечают: «и со духом твоим». И сим оканчиваются моления о всех, составляющих Церковь Христову, совершаемые перед лицом Самого Тела и Самой Крови Христовой.

Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых Дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осуждение обратятся. Подъяв орарь тремя перстами десныя руки своей, так восперяет он всех к молитве: «Вся святяя помянувшя, вновь и вновь миром Господу помолимся!» И воспевает лик: «Господи, помилуй!» – «О принесенных и освященных Честных Дарах Господу помолимся». И воспевает лик: «Господи, помилуй!» – «Яко да Человеколюбец Бог наш», взывает диакон: «прияв их во святыи превышшенебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Духа Святаго, помолимся». И воспевает лик: «Господи, помилуй!» – «О избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся». И воспевает лик: «Господи, помилуй!» – «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!» И взывает лик: «Господи, помилуй!» – «Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, безгрешнаго у Господа просим». И воспевает лик: «Поддай, Господи!» – «Ангела мирнаго, вернаго наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим». И воспевает лик: «Поддай, Господи!» – «Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим». И воспевает лик: «Поддай, Господи!» – «Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим». И воспевает лик: «Поддай, Господи!» – «Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим». И воспевает лик: «Поддай, Господи!» – «Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа на Страшном Судилище Христовом просим!» И воспевает лик: «Поддай, Господи!» И произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу: «Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». И воспевают все в полной и совершенной преданности: «Тебе, Господи!»

Священник же наместо троичного славословия возглашает: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно сметь призывать Тебя, Небеснаго Бога Отца, и глаголати». И все верные в эту минуту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые младенцы, доведенные самими молениями и всею службою и постепенным ходом ее святых обрядов до того небесно-умиленного, ангельского состоянья души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим отцом, произносят сию молитву Господню: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Прошеньем: «да святится имя Твое», просится первое, о чем прежде всего мы должны просить: где святится Божье имя, там все хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только святится имя Божие. Словами «да приидет Царствие Твое», вызывается Царство Правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде: ибо Бог есть правда. К словам: «да будет воля Твоя», приводит человека и вера, и разум: чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше Самого Творца знает, что нужно Его творению? Кому же ввериться, как не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словом: «даждь нам хлеб наш насущный»,

просим мы всего, что нужно для дневного существования нашего, хлеб же наш есть Божья Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам сказал: «Аз семь хлеб, и ядый Меня не умрет». Словом: «остави нам долги наша», мы просим о снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих, – просим прощенья нам всего того, чем задолжали мы Самому Творцу в лице братии наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии. Словом: «не введи нас во искушение», мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: «но избави нас от лукаваго», мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу и мы уже на земле, как на небесах.

Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою молиться научила нас Сама Премудрость Божия, и кому же молиться? молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость Свою прежде веков. Так как все предстоящие должны повторять в себе молитву сию не устами, но самой чистой невинностью младенческого сердца, то и самое пенье ее на ликах должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзающими самую душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыханье самих небес в ней слышится, да лобзанье самих ангелов в ней носится, ибо в молитве этой уже не называем мы и Богом Того, Кто сотворил нас, а говорим Ему просто: «Отче наш!»

Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием Спасителя: «Мир всем!» Ему отвечают: «И духови твоему!» Напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое должен всякий совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает: «Главы ваши Госнодеви преклоните!» И, преклонив главы свои, все до единого из предстоящих произносят в себе почти такую молитву: «Тебе, Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечно вопию: Грешен, Господи, и недостоин просить у Тебя прощенья, но Ты, как Человеколюбец, так же ни за что, как блуднаго сына, меня помилуй, как мытаря, меня оправдай и удостой меня, как разбойника. Твоего Небеснаго Царства». И когда все таким образом, преклонив главы свои, пребывают в внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у олтаря за всех такими, внутри самого себе произносимыми словами: «Благодарим Тебя, Царю Невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоея от небытия в бытие вся привел еси, Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших Тебе главы своя, ибо подклонили они их не плоти и крови, но Тебе, Страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежит нам, изравняй во благо нам, каждому по потребности его: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели, Врачу душ и телес!» И возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие, обращенное к небесной милости Божией: «Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков!» Лик возглашает: «аминь». А священник, приуговоря к приобщению себя самого и всех потом Тела и Крови Христовой, молится такою тайною молитвою: «Вонми, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе с Отцем сидящий и здесь невидимо нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей преподать нам священникам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, а нами всем Твоим людям».

Во время глаголения сей молитвы диакон готовится к причащению: становится перед царскими вратами, опоясая себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобье ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества. Поклоняясь три раза, так же как и священник, произносит он три раза в себе: «Боже, очисти меня грешнаго и помилуй меня!» Когда же священник прострет руки свои к святому дискосу, воздвигающим словом «вонмем» напоминает он всем во храме

к устремлению мысли на происходящее. Олтарь сокрывается от глаз народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих иереев. Один только голос иерея, подъемлющего святой дискос: «Святая святым», раздаётся из олтаря. Содрогаясь от сего возвещения, говорящего, что нужно быть святым для принятия святыни, весь молящийся храм отвечает ему: «Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца», и воспевается вслед за тем хвалебный гимн святому, егоже день, в возвещенье, что можно быть святу человеку, так же как стал свят святой, которому гимн поется: стал свят он не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребываньем во Христе святится человек и в такие минуты пребывания свят, как Сам Христос, подобно как железо, когда пребывает в огне, становится и само огонь и потухает вмиг, как только изымается из огня, и становится вновь темным железом.

Священник раздробляет теперь Святой Хлеб, сначала по знаку, начертанному на Проскомидии, на четыре части, с благоговением произнося: «раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но освящаяй причащающиеся». И сохранив одну из сих частей для приобщения себя и диакона Святого Тела в виде, не соединенном еще с Кровию, дробит потом части Хлеба по числу приобщающихся, но не дробится в сем дроблении самое Тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа нераздельная и всецелая, как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске. Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали. Но в Чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на Проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе; только частями, составляющими Тело и Кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки Тело Господа, испивал потом сам из Чаши. Но когда, – бесчинством невежественных новообращенных христиан, ставших только по имени христианами, – начали уносить Святые Дары в дома свои, употребляя их в суеверия и колдовства, или же бесчинно обращаться с ними тут же во храме, толкая друг друга, производя шум и даже проливая Святые Дары, когда нашлись в необходимости отцы многих Церквей отменить вовсе приобщение Крови для всего народа, заменив его хлебным знаком облатки, как сделала то у себя католическая Западная Церковь, – тогда святой Иоанн Златоуст, чтобы не случилось и в Церкви Восточной того, установил преподавать народу Кровь и Тело не порознь, но в соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, но преподавать святой ложкой, имеющей образ тех клещей, которыми огненный серафим прикоснулся устам пророка Исаии, дабы напомнить всем, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться устам, дабы увидел ясно всяк, что сей святой ложкой держит иерей тот горящий уголь, который схватил таинственными клещами серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновеньем его к устам пророка отнять от него все грехи его. Тот же самый Златоуст, чтобы удалить с тем вместе всякую мысль о том, что сие соединение Тела и Крови воедино и вместе делается произвольно иереем, ввел в минуту самого соединения их вместе влитие теплой воды в сосуд, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую в разрешении такого соединения, почему и произносится при этом диаконом: «Теплота веры, исполнь Духа Святаго». А на самое влитие теплоты призывается благословение Того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этом без благословенья Самого Господа, чтобы в то же время и теплота послужила подобоием теплоте Крови, давая самим вкушеньем ее чувствовать всякому, что не от мертвого тела, из которого не истекает теплая кровь, но от Живого, Животворящего и Животворного Тела Господня он ее приемлет, чтобы и здесь он слышал возвещенье того, что и от мертвого Тела

Господня не отступила Божественная душа, и было действ духа оно полно, и Божество с ним не разлучалось.

Приобща вначале себя, потом диакона, служитель Христов предстоит новым человеком, как очищенный святынею приобщения от всех своих прегрешений, как святой истинно в эту минуту и как достойный приобщать других.

Врата царские разверзаются, диакон возносит торжественный глас: «со страхом Божиим и верою приступите!» И всем предстоит преображенный серафим с Святой Чашей в руках – иерей, во святых вратах стоящий.

Горя желанием Бога, сгорая любовным пламенем к Нему, сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к нему приобщающиеся и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание Распятого: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый семь аз. Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое, и Сия есть самая Честная Кровь Твоя, молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя водная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися Пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и в Жизнь Вечную». И остановившись на одно мгновение, дабы объять мыслию значение того, к чему приступает, продолжает глубиной сердца своего повторять последующия слова:

«Вечери Твоя Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника меня приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Июда, но, яко разбойник, исповедую Тя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». И совершив один миг благоговейного молчания в себе, продолжает: «Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела».

И, прочитав сие исповедание, уже не так, как к иерею, но как к самому огненному серафиму, приступает каждый, готовясь раскрытыми устами принять с святой ложки тот огнепальный уголь Святого Тела и Крови Господа, который долженствует в нем попалить, как тленный хворост, весь черный дрязг его прегрешений, изгнав вечную ночь из души его, превратив его самого в просветленного серафима. И когда, подъяв святую ложку над устами его и упомянувши его, произнесет иерей: «Причащается раб Божий Честныя и Святыя Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную», приемлет он Тело и Кровь Господа, и в них приемлет минуту свиданья с Богом, становясь лицом к лицу к Нему Самому. В минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает Тот, Кто есть начало вечности. Прияв в Телe и Крови сию великую минуту, исполненный святого ужаса, стоит приобщившимся; святым воздухом осушаются уста его при повторении серафимских слов пророку Исаие: «Се прикоснуся устам твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит». Сам святой, возвращается он от Святой Чаши, поклоняясь святым, их приветствуя, и поклоняясь всем предстоящим, как ближайшим в несколько раз своему сердцу, чем дотолe, как связавшихся теперь с ним узами святого, небесного родства, и становится потом на свое место, исполненный той мысли, что принял в Себя Самого Христа и что Христос в нем, что Христос сошел Своєю плотью, как во гроб, к нему в утробу, дабы, проникнув потом в тайное хранилище сердца, воскреснуть в духе его, совершая в нем самом и погребенье, и Воскресенье Свое. Сияет светом сего духовного Воскресенья вся церковь, и воспевают певцы сии ликующие песни:

«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертью смерть разруши». И подобно ангелам, соединяющимся в то время: «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава

бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе; Ты же Чистая красуйся Богородице о восстании Рождества Твоего. О Пасха велия и священнойшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащаться, в невечернем дни Царствия Твоего!»

В продолжение же того, как воскресными песнями оглашается ликующая церковь, священник в закрытом олтаре, поставив Святую Чашу на святую трапезу, которая так же, как и дискос, покрывается вновь покровами, произносит благодарственную молитву Самому благодетелю душ Господу за удостоение приобщиться небесных и бессмертных Его Таинств и заключает ее прошением, да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к нему, соблюдает житие наше и соделает твердыми стопы наши.

И разверзаются затем в последний раз царский врата, возвещая разверзаньем своим разверзанье самого Царствия Небесного, которое доставил Христос всем принесеньем Самого Себя в духовную снедь всему миру. В виде Святой Чаши, износимой диаконом в сопровождении слов: «со страхом Божиим и верою приступите», и в ее отнесении изображается исход Самого Господа к народу, дабы возвести их всех с собою в дом Отца Своего. Громом торжественного песнопенья гремит весь лик в ответ: «Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!» И громом песнопенья духовного, исходящего из глубины возрастающего духа, совоспевает ему вся церковь. Священник же, благословив предстоящих словами: «Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое», – ибо предполагает, что все по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие, – устремляется мыслью к вознесению Господню, которым завершилось его пребыванье на земле: становится вместе с диаконом пред святым престолом, и, поклоняясь, кадит он в последний раз и, кадя, произносит в себе: «Вознесися на небеса. Боже, и по всей земли слава Твоя», между тем как лик восторгающим песнопением и звуками, сияющими весельем духовным, стремится просветленные души всех предстоящих к произнесению вослед за ним сих слов самой радости духовной: «Видехом свет истинный, прияхом духа небеснаго, обретохом веру истинную. Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть».

Диакон показывается в святых дверях с святым дискосом на главе, не произнося ни одного слова: безмолвным воззрением своим на все собранье и уходом знаменует удаление от нас и вознесенье Господне. Вослед за диаконом показывается в святых дверях иерей с Святою Чашею и возвещает пребывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа словами: «Всегда, ныне, и присно, и во веки веков», после чего и Чаша, и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась Проскомидия, который изображает теперь уже не вертеп, видевший Рождение Христово, но то верховное место славы, где совершился возврат Сына в лоно Отчее.

Здесь вся церковь, предводимая поющим ликом, соединяется в одно торжественно-благодарное пение душ своих; и сии суть слова ее восхваления: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститься Святым Твоим Божественным, Бессмертным и Животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святости, весь день поучатися правде Твоей!» И воспевают троекратно вослед за тем хор певцов воздвигающее слово: «аллилуйя», говорящее им непрестающее хождение и всюду пребывание Божие. Диакон же восходит на амвон воздвигнуть в последний раз предстоящих к молениям благодарственным. Подъяв орарь тремя перстами руки своей, говорит он: «Прости, приимше Божественных, Святых, Пречистых, Бессмертных, Небесных и животворящих. Страшных Христовых Тайн, достойно благодарим Господа». И благодаря сердцами, воспевают все тихо: «Господи, помилуй!» – «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!» – взывает в последний раз диакон. И воспевают все: «Господи, помилуй!» – «День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивши, сами себя и друг друга и весь живот ваш Христу Богу предадим». И с покорностию кроткой младенца, в небесной доверенности к Богу, все восклицают: «Тебе, Господи!» А священник, складывая в это время антиминс и с Евангелием

в руках, ознаменовав...¹¹ возглашает троичное славословие, которое, озаряв доселе, подобно всеозаряющему маяку, весь путь богослужения, и теперь вспыхивает еще сильнее светом в просветившихся душах; и такое на сей раз обращение троичного славословия: «Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков».

Затем священник приступает к боковому жертвеннику, на котором постановлены Чаша и дискос. Все те частицы, которые оставались доселе на дискосе и были вынуты на Проскомидии в воспоминание святых, в упокой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во Святую Чашу и в сем действии их погружения приобщается Телу и Крови Христовой вся Церковь Его – и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах: Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту Телу и Крови Христовой. И священник, предстоя в такую минуту пред Богом, как представитель всей Его Церкви, испивает из Чаши сие причащение всех и, приемля в себя приобщение всех, молится о всех, да омыются грехи их, ибо за искупление всех принесена жертва Христом, как за тех, которые жили до Его пришествия, так и за тех, которые жили по пришествии Его. И как бы ни была грешна молитва его, но священник возносит ее за всех, даже за самих святейших, ибо, как сказал Златоуст, общее предлежит очищение вселенныя.

Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву; высокое значение такой молитвы и ее строгая надобность узнались не мудрецами мира и не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким духовным совершенством и небесно-ангельской жизнью дошли до познания глубочайших душевных тайн и видели уже ясно, что разлуки нет между живущими в Боге, что минутной тленностью нашего тела не прекращаются сношения, и что любовь, завязанная на земле, приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви. И все, что ни истекает из Христа, то вечно, как вечен сам источник, из которого оно истекает. Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торжествующая Церковь долженствует молиться и молится также о странствующих на земле братьях своих; слышали они, что Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслаждение молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благоденствии Своем Своё творение, да насладится оно высоким блаженством благоденствия: несет ангел Его повеление и утопает в блаженстве уже оттого, что несет Его повеление. Молится на небесах святой о братьях своих на земле, и утопает в блаженстве уже оттого, что молится. И все соучаствует с Богом во всех высочайших Его наслаждениях и блаженствах: миллионы совершеннейших творений исходят из рук Божиих, дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им конца, как нет конца Божиим блаженствам. Испив из Чаши приобщение всех с Богом, иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и сим сохраняет высокий древний образ Трапезы Любви, исполнявшийся христианами первых времен. Хотя и не накрывается теперь для этого стол, по причине того, что невежественными христианами, безумным буйством их ликований, словами раздора, а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательного небесного пиршества в самом доме Божиим, на котором все пировавшие были святы, как одна душа были души их, и, чистые младенцы сердцем, вели они такую беседу, как бы у Самого Бога были на небесах; хотя сами Церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминание об этой трапезе исчезнуло во многих Церквях; но, несмотря на то, одна Восточная Церковь не могла решиться на уничтожение вовсе такого обряда, и в раздаче Святого Хлеба посреди церкви всему народу совершает ту же Святую Трапезу Любви. А потому всяк приемлющий просфору и приемлет ее, как хлеб от

¹¹ Пропуск в подлиннике.

того пиршества, за которым Сам Хозяин мира беседовал с людьми своими, – а потому вкушал бы благоговейно, представляя себя окруженного всеми людьми, как нежнейшими братьями своими, – и так же, как было в обычае первоначальной Церкви, вкушает его прежде всякой другой пищи, или относит в дом свой домашним, или же отправляет больным, неимущим и тем, которые почему-нибудь не могли быть на то время в церкви.

Раздав Святой Хлеб, священник творит отпуст Литургии и благословляет весь народ словами: «Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста (если Литургия Златоуста идет день в день), молитвами святого (и называет по имени святого, его же день) и всех святых помилует и спасет нас яко Благ и Человеколюбец». Народ, знаменуясь крестом и поклоняясь, расходится при громком пении лика многолетствующего императора.

Священник в олтаре совлекается от одеяний своих, произнося: «Ныне отпускаеши раба Твоего», и сопровождая разоблачение хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, которого служилась Литургия, и той Пречистой Святой Деве, в Которой совершилось вочеловеченье Того, Кому служилась вся Литургия. Диакон в это время потребляет все оставшееся в Чаше и потом, налив в нее вина и воды и всполоснув внутренние стены ее, испивает, осушив тщательно губкой, дабы ничто не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и подобно священнику говорит: «Ныне отпускаеши раба Твоего», повторяя те же песни и молитвы. И оба выходят, наконец, из храма, неся сияющую свежесть в лице, радость ликующую в духе, благодаренье Господу на устах своих.

Заключение

Действие Божественной Литургии над душою велико: зримо и в очью совершается, в виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призыванию диакона – душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо, и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при Божественной Трапезе Любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное течение своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было... , сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращения с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней с подчиненным. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуется, как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда-либо располагается помогать, чувствует он больше наслаждения, с любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние: растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой признательностью не молится он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхождении с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках.

А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовью, при Священной Трапезе Любви. И если он чувствует, что недостойн принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как приобщаются другие, чтоб незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с каждой неделей.

Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.

Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно, не одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего.

Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершателя, или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист, подобно сосудам, которые уже ни на что потом... ; пребывает ли он весь тот день в отправлении своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, – Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или утешать скорбящего, или к терпению угнетенного, или... , – слова его приобретут силу врачующего ея и будут на всяком месте словами мира и любви.